

18+

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ

Быт русской провинции



Алексей Митрофанов

Быт русской провинции

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Быт русской провинции / А. Митрофанов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-908985-4

Эта книга — не вымышленная сусальная сказка, которая бы идеализировала быт Владимира и Костромы. Такие там разыгрывались страсти и страстишки, что, как говорится, хоть святых выноси. Острые впечатления вам гарантированы. Но и щемящий дух безвозвратно ушедшей русской провинциальной жизни — тоже.

ISBN 978-5-44-908985-4

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

О чем, собственно речь?	6
Мой дом – моя крепость	15
Непростое хозяйство провинциального города	34
Хождение во власть	61
От чистого служивого сердца	84
Конец ознакомительного фрагмента.	86

Быт русской провинции

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2018

ISBN 978-5-4490-8985-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Название книги – «Быт русской провинции XIX века» – конечно, условно. Как, впрочем, и сама провинция. Имеются в виду, конечно, не деревни – города. Города крупные, но не столичные. Большей частью – губернские. Однако, не без исключений. Иной уездный городок с легкостью давал фору собственной губернской столице. А, к примеру, Иваново-Вознесенск (ныне – Иваново) и вовсе числился заштатным городом, входящим в Шуйский уезд. Тем не менее, гремел на всю Россию – как-никак текстильная столица. А про существование Шуи вообще мало кто знал. Или Царское Село (ныне Пушкин). Формально числился уездным городом Санкт-Петербургской губернии, а на деле – царская резиденция, покруче Владимира или Саратова.

И мы решили отказаться от формального подхода (например, брать исключительно губернские города, или города с определенной численностью населения, или еще какие), а, не взирая на статусы и статистические изыскания, воссоздать дух русской провинции, ее вкус, ароматы и звуки.

Отважившись на этот шаг, мы пошли дальше – и отказались от формальных рамок девятнадцатого века. Иначе нам пришлось бы согласиться с тем, что Россия 1801 года и 1899 года имела схожий вкус и звуки тоже схожие. А это, разумеется, не так. Немного поразмыслив, мы решили ограничиться периодом между крестьянской реформой 1861 года и началом Первой мировой войны. То есть, с одной стороны, оставить за рамками помещичье самодурство с крепостными театрами и роговыми оркестрами, а с другой – эшелоны с ранеными, членов царской фамилии, щиплющих корпию и вездесущий запах карболки и йода. Но и здесь рамки не строгие. Какие-то черты из жизни дореформенной провинции никак не изменились из-за упомянутой реформы. А некоторые предвестники необратимой трагедии возникли еще до 1914 года – терроризм народовольцев, Кровавое воскресенье, декабрьские восстания.

Черты мы решили забрать, а вот от предвестников отказаться. Поскольку наша главная задача, как уже сообщалось – провинциальные вкус, ароматы и звуки. А они в русской провинции были особенные, настраивали на неспешный, безмятежный, сокровенный лад и не располагали к политической борьбе.

Однако, эта книга – не вымышленная сусальная сказка, которая бы идеализировала быт Владимира и Костромы. Такие там разыгрывались страсти и страстишки, что, как говорится, хоть святых выноси. Острые впечатления вам гарантированы. Но и щемящий дух безвозвратно ушедшей русской провинциальной жизни – гарантирован тоже.

О чем, собственно речь?

Попытки постичь и осмыслить жизнь русской провинции начали предприниматься в первой половине девятнадцатого века. Конечно, многочисленные путешественники, да и сами провинциалы и раньше присматривались к городам и писали о них. Но касалось это большей части скучных статистических подробностей. А сколько в городе торговых лавок? Есть ли кремль? В каком он состоянии? Тучны ли монастырские доходы? Много ли тут вдовствующих баб?

Не удивительно – ведь путешествовали в основном купцы и офицеры (разумеется, солдаты тоже путешествовали, но, по причине почти что тотальной безграмотности, от описаний воздерживались). Вот и получались у них то военные донесения, то маркетинговые исследования потенциального рынка, а чаще сплетения того и другого.

А в девятнадцатом веке в России возникли писатели. То есть, литераторы, старающиеся не ради красного словца и прославления власть имущих («Императрикс Екатерина, о! поехала в Царское Село» – пусть и пародия на Тредиаковского, но больно уж хорошая и точная пародия), а ради развлечения читателей и чтобы через это заработать. Во всем своем многообразии в стране начался литературный процесс.

Писатель – субъект любопытный, а значит и склонный к перемещению мест. А что ни место – то картина. Которую, разумеется, следует обрисовать словами, проанализировать и вывести в конце концов мораль, а как же без морали?

Вот, например, Иван Аксаков – о прекрасном городе на Волге, Ярославле: «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквями, башнями и воротами; город с физиономией. Калуга не имеет никакой физиономии или физиономию чисто казенную, Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на каждом шагу следы древности, прежнего значения, прежней исторической жизни. Церквей – бездна, и почти не одной – новой архитектуры; почти все пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри внутри города, с каменными стенами и башнями, и вы помете, как это скрашивает город, а тут же Которосль (старое название реки Которосли – авт.) и Волга с набережными, с мостами и с перевозами. Что же касается до простого народа, то мужика вы почти и не встретите, т. е. мужика-землепашца, а встречается вам на каждом шагу мужик промышленный, фабрикант, торговец, человек бывалый и обтертый, одевающийся в купеческий долгополый кафтан, с фуражкой, жилетом и галстуком... Роскошь в городе страшная. Мебель, квартиры, одежда – все это старается перешеголять и самый Петербург».

Тут вам и анамнез, и диагноз – разве что курс лечения не обозначен.

Литератор Филипп Диомидович Нефедов препарировал свой родной город Иваново-Вознесенск: «Вознесенский посад, составляющий, так сказать, предместье русского Манчестера... поразительно походит на обыкновенное село: те же чумазные избы и избенки, крытые соломой и тесом, те же кабаки и даже тот же неизменный трактир с чудовищно-пузатым самоваром на вывеске. Потом идут какие-то пустыри и, наконец, только центр, где находятся торговые ряды, весьма, правда, пустынные, и проходит главная улица, напоминает что-то смахивающее на уездный город. Самое Иваново еще больше поражает непривычный глаз жителя столицы: изрытое оврагами, оно состоит из множества кривых и неправильно расположенных улиц, перемежаемых узенькими переулками; постройки большей частью деревянные, целые улицы сплошь состоят из черных изб („черные“ или „курные“ избы – с печью без выводной трубы для дыма). И только местами, рядом с какой-нибудь разваленной хижинкой крестьянина, встречается громадная фабрика с пытящими паровиками или большой каменный дом богача-фабриканта с штофными драпями на окнах. Прибавьте ко всему этому базарную площадь с торговыми

лавками, трактиры и бесчисленное множество кабаков, попадающихся чуть ли не на каждом шагу, и перед нами налицо весь русский Манчестер с его внешней стороны».

Александр Островский писал о Торжке: «Торжок бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Замечательнее других – вид с левого берега, с бульвара, на противоположную сторону, на старый город, который возвышается кругом городской площади в виде амфитеатра. Хорош также вид с правой стороны, с старинного земляного вала; впрочем, лезть туда найдется немного охотников. Собственно старый город был на правом берегу – там и соборы, и гостинный двор, и площадь, а левый берег обстроился и украсился только благодаря петербургскому шоссе».

Тарас Шевченко – об Астрахани: «Астрахань – это остров, омываемый одним из протоков Волги, перерезанной рядом вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум. Полуостров этот окружен густым лесом мачт и уставлен живописными бедными лачугами и серыми, весьма неживописными деревянными домиками с мезонинами, не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены Кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской архитектуры 17-го столетия...»

Михаил Дмитриев – поэт и автор мемуаров «Мелочи из запаса моей памяти» – о Муроме: «Муром так напоминает собою то старое время, когда от набегов, своих и чужих, строились на местах гористых, почти неприступных, что, проезжая его, мне всегда мечтается, что живу во времена наших удельных князей; он всегда возбуждает во мне какое-то странное чувство этой тревожной старины, спокойной на своей горе, за своею широкою рекою, за своими непроходимыми лесами и песками! Муром, с своим длинным и крутым спуском к самой Оке, чрезвычайно живописен, особенно с середины реки, а самое плавание по Оке на пароме составляет какое-то приятное разнообразие с скушной и утомительной дорогой. За ним пойдут на шестьдесят верст глубокие сыпучие пески, окруженные сосновым лесом, по которым закладывают в карету по осьми и по двадцати лошадей, но и те едва смогут вывести: ноги уходят в песок дальше щиколотки, как в воду. Зато эта пустыня, эта окрестная тишина, имеют в себе что-то романтическое, как будто читаешь роман Купера. Нынче знаменитый муромский лес так вырублен по обеим сторонам дороги, что между двух сторон с полверсты пространства. Но когда я начал ездить по этой дороге, она вся была в лесу, а по обеим сторонам узкого пути, в некоторых местах, застланных хворостом, было болото, так что разбойники могли нападать из лесу, почти невидимо, а ускакать было некуда! Об этой узкой дорожке в дремучем лесу, с которой только и видно было вверху небо, было в старину даже особое выражение „в небо дыра“!»

И во всем этом – стремление подобрать к городу бирочку и поставить его с этой бирочкой на полочку на полочку своих литературных достижений.

Однако же со временем любовь к подобным бирочкам пошла на спад, а чувства начали преобладать над разумом. Писатели (да и не только писатели, а впрочем понятие «писатели» тоже со временем стало размытым) научились любоваться русской провинцией, восхищаться, очаровываться ею, петь ее. Главное – впечатление. Самое сильное впечатление – первое.

«Я вышел на палубу и остановился в изумлении: пароход, чуть пошевеливая колесами, пробирался посреди бесчисленного множества плотов и барок, составлявших почти одну сплошную массу во всю ширину реки. Мы были в Рыбинске, но я не видел еще города, а только огоньки в окнах его домов, сверкающие в темноте, на высоком правом берегу Волги.

Я проснулся очень рано и тотчас же пошел в город. Богатые каменные дома, тянущиеся стройным рядом по высокому берегу, прекрасная, устланная камнем набережная с хорошенькими перилами, отличный тротуар вдоль набережной – все показывало, что жители Рыбинска

люди не бедные. Город еще спал, только в открытых окнах трактиров половые постукивали чашками. С высокой набережной открывался прекрасный и очень оригинальный вид на широкую реку, на бесчисленные суда, на противоположный берег, застроенный складочными магазинами, амбарами и сараями. Рыбинская пристань тянется на несколько верст, а суда располагаются у берега правильными отделениями, смотря по тому, с каким они грузом и куда идут».

Это педагог К. Д. Ушинский.

«К 2 часам увидели мы с последнего перевала Екатеринбург. Широко раскинутый, как и все сибирские города, он производил своими зелеными крышами и шестью стройными церквями весьма приятное впечатление, которое остается и по въезде в него. Особенно хороша та часть города, где разливается, наподобие большого озера, р. Исеть, протекающая весь город. Здесь виден островок с различными увеселительными местами, который летом должен иметь прелестный вид, как и вообще вся окрестность... Екатеринбург один из лучших сибирских городов, виденных нами; ряды красивых домов, базар и прекрасные церкви имеют почти величественный вид. К сожалению, улицы его находятся в ужасном состоянии... Это были не просто испорченные мостовые, но все улицы и площади были покрыты сплошной массой грязи. Эта масса походила на асфальт, который, казалось, должен отвердеть с минуты на минуту, но не твердел, и извозчики развозили своих пассажиров, забрасывая их грязью, в которую колеса уходили по ступицу. Несмотря на то, что под руками имеются отличные ломки гранита, горожане привезли лишь несколько тротуарных плит и камней для исправления улицы, но не принимались за дело, как бы не надеясь достигнуть желанной цели. А между тем придется же приняться за это и даже с энергией, потому что необходима не только поправка, но нужно сделать все заново. Или почва, на которой построен город, содержит в себе много золота, и хотят сделать эти сокровища более недоступными?»

Это знаменитый Альфред Брем – пусть немец, но объехавший большую часть Сибири и вполне вписавшийся в русскую литературно-градоведческую традицию. Радостные, печальные – главное: эмоции.

А писательница В. Дмитриева рассказывала о своем визите в Сочи в 1903 году: «В 1903 году я в первый раз приехала в Сочи. Был великолепный июньский вечер, когда пароход „Черномор“ остановился на рейде. Солнце пурпурное опускалось в море лазурное, весь берег утопал в золотом сиянии, вечерний бриз навевал оттуда запахи роз и магнолии... Вдоль всего города тянулись три главные улицы: Московская, Приморская и Подгорная, застроенные небольшими, по большей части одноэтажными домами, сверху донизу увитыми розами и глициниями. Их розовые, лиловые, белые, красные каскады струились вдоль стен, скрывая совершенно фасады домов, и город казался сплошным сараем».

В то время курорт еще только налаживался, ездили туда мало и с опаской, и непонятно, по большому счету, было, чем он станет – курортом ли, или простым уездным городом. Наблюдения Валентины Иовны представляли для современников большую ценность.

Публицист Николай Лейкин рассказывал о знакомстве своем с русским городом Вологдой: «Пролетка петербургского типа, но без верха прыгала по длинной широкой улице с мостовой из крупного булыжника. Улица, как бульвар, была обсажена березами с белыми стволами. Длинной чередой тянулись деревянные дома, некоторые вновь построенные и украшенные резьбой, а два-три из них даже с зеркальными стеклами. Чувствовался достаток владельцев, домовитость, видно было, что все это строилось для себя, а не для сдачи внаем. Дома чередовались с садами, но опять-таки засаженными исключительно березами. Редко где выглядывали из-за массивного тесового забора тополь или рябина. Виднелась вывеска агента страхового общества, вывеска конторщика транспортных кладей... Вологда... имеет много садов, бульваров и утопает в зелени. Насаждения эти состоят только из берез и поэтому Вологду можно назвать березовым городом. Здесь не вымерзают, как я узнал, и другие породы деревьев, но у вологжан уж такая страсть к березам. Повсюду виднеются белые стволы. Бульвар

березовый, сады березовые, около церквей в оградах березы. В городе по улицам, по площадям, по пустырям ведутся новые насаждения, и они состоят из березок. Загородное гулянье, состоящее из клуба местного пожарного общества, находится в березовой роще».

А Ефим Бабецкий, тоже публицист – с Ростовом-на-Дону: «Когда свежий человек попадает в Ростов-на-Дону, энергическая физиономия вечно занятого, всегда куда-то спешащего ростовского жителя сейчас бросается ему в глаза. Тихой с «размерцем», плавной и покачивающейся походки... вы тут не заметите. Даже дамы и те двигаются по ростовским панелям быстро и порывисто, точно им тоже некогда. Указанная особенность – черта, прирожденная всякому портовому городу с преобладающим торговым населением...»

В Ростове, очевидно, все люди деловые. В этом, конечно, очень много хорошего, в особенности принимая во внимание китайскую, кажется, поговорку о том, что труд – лучшая охрана добродетели, – но все же эта попадающаяся на каждом шагу фигура с классическим кошельком – начинает вас тяготить».

В том же ключе – первые впечатления Бориса Зайцева о Ярославле: «Ярославль начинается с извозчика, который вас везет. Говор на „о“, с сокращением гласных („понима-ть“, „зна-ть“) сразу дает круглое и крепкое впечатление русского. Очень здорового, симпатичного и способного народа, живущего тут. Это потом оправдывается повсюду: недаром ярославцы издавна славятся людьми прочными, жизненными и сметливыми».

Удивительно все. Пролетка петербургского типа – ну надо же! Извозчик с говором на «о» – вот это да! Деловые люди, интересно-интересно. Улица, обсаженная березами с белыми стволами – повод для очередного восторга. Были бы вместо них липы с черными стволами – восторгали бы не меньше.

Особая история – когда на город смотрит человек, который в нем провел большую часть своей насыщенной событиями жизни. Вырос в провинции, уехал в столицы за счастьем – и счастье наше. Вернулся на родину совершенно другим человеком, столичной штучкой. И что же увидел? Да то же, что и уроженец столицы. Вот, например, заметки Михаила Нестерова: «Вот уже прошла неделя, как я в Уфе, которая, несмотря на все усилия цивилизации, все та же немудреная, занесенная снегом, полуазиатская... По ней нетрудно представить себе сибирские города и городки. Начиная с обывателей, закутанных с ног до головы, едущих гуськом в кошевках, и кончая сильными сорокаградусными морозами, яркими звездами, которые в морозные ночи будто играют на небе; им словно тоже холодно, и они прячутся...»

Начало описательное, статистическое то и дело пробивалось, никуда не спряталось. Но, как правило, сопровождалось передачей настроения, даже если автор не имел ровным счетом никакого отношения к миру искусств. И вот мы читаем в серьезном отчете Николая Андреевича Ермакова «Астрахань и Астраханская губерния. Описание края и общественной и частной жизни во время одиннадцатимесячного пребывания в нем»: «Вообще город выстроен весь по плану, и... его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя не обширные, но красивые, в которых над пестрыми массами крытых черепицею домов резко и гордо возвышаются 34 храма, большею частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый кремль с колоссальною грандиозною громадою своего пятиглавого собора венчает пейзаж, по местам освеженный... зеленью и озаренный яркими лучами здешнего знойного солнца».

Сосчитать скрупулезно количество храмов – и приплести под конец озарение солнцем – это ли не курьез? Нет, не курьез – очарование русской провинции свое берет, кого угодно сделает поэтом.

Дмитрий Иванович Архангельский, художник, вспоминал: «Захолустный Симбирск с конца XVIII века и до половины XIX постепенно отстраивался и украшался, и невольно, конечно, отразил в своих сооружениях классический стиль, господствовавший тогда в русской

архитектуре. Свои мечты о прекрасном зодчие воплотили в удивительные здания, напоминавшие греческие храмы, окруженные колоннами, имевшие торжественные портики с античными украшениями. Среди нашей серенькой природы, среди зелени березок и лип эти колоннады были неожиданны и празднично-нарядны. К ним мы привыкли и сроднились с ними».

Архангельский вырос в Симбирске, покинул свой город, но, вскормленный чуть не в буквальном смысле слова здешними пейзажами и здешней атмосферой, до конца своей жизни воспевал в своих работах родной Симбирск.

А вот взгляд на тот же город, но со стороны: «Симбирск так далеко и высоко забрался на гору, что с пристани его совсем не видно, и в город приходится подыматься по довольно крутому, изогнутому змеей Петропавловскому спуску. Лежа на горе между Волгой и Свиягой, которая пробегает своими верховьями совсем рядом со старейшей своей сестрой, Симбирск совсем заснул на высоком своем пьедестале с крупными обрывами к обоим рекам. Это старое дворянское гнездо, с славой и весельем в прошлом, с преданиями жизни прежних помещиков и важных бояр, центр в былые дни провинциального блеска, всего модного и изящного, старый барин среди волжских городов, обедневший, заснувший и полузабытый нынче, когда вся аристократия его испарилась... Пожары разогнали дворянство, а прежний блеск, ослепительные празднества, прославленные балы – все осталось как милое предание хорошей старины, во всех этих больших зданиях и губернского дворца, и дворянского собрания, и частных помещичьих домов. Душный, среди облаков пыли спит город со своим Венцом, очевидно, бывшим кремлем, где от прежних крепостей, палисад и стен и следа не осталось. Венец – высший пункт города, и вид с него на Волгу прекрасен».

Это – путешественник В. Сидоров, работа под названием «По России». Похоже, что величие русской провинции видится со стороны несколько ярче.

Впрочем, встречались и странные вещи. Константин Константинович Случевский, которого в свое время называли королем русской поэзии, отозвался о Череповце – старинном и уютном городе на берегу речки Шексны – неожиданно сухо: «Череповец, задолго до образования города, был богатейшей волостью на Шексне, с пристанью и удобным местом для загрузки и перегрузки. Это сделало его известным, и патриархи московские присвоили из Новгородской митрополии в свое личное управление, ради доходов обители, Воскресенский монастырь в Череповце. Череповец, равно как и Кириллов, обязаны своим бытием, как города, императору Александру I; но Череповец, как торговый попутный центр, обозначился уже давно. Историческими воспоминаниями Череповец небогат, необходимо, однако, упомянуть о находящейся в 25 верстах от него Выксенской пустыни, в которой была пострижена последняя супруга Иоанна Грозного, Мария Нагая; отсюда она и была вызвана самозванцем в Москву. Герб Череповецкого уезда имеет классического для Новгородской губернии медведя; из 11 уездов ее только три не имеют этого „лесного помещика“ своим геральдическим украшением».

Ни образов, ни настроений, совсем как статья в Википедии – даром что стихотворец. Не вдохновил его Череповец.

В подобном стиле Федор Пастернацкий – терапевт и курортолог – описывал Сочи: «Город Сочи с его окрестностями является наиболее интересным среди других областей Черноморского побережья по тому широкому климатобальнеологическому значению, какое он, несомненно, займет в самом недалеком будущем. Основанием этому служит самый город, обозначившийся уже как климатическая станция, во-вторых – богатство его окрестностей местами, еще более пригодными для климатолечебных целей, и наконец, близость к этому городу серных источников (по реке Мацесте и реке Агуре), пригодных для эксплуатации их с бальнеологическими целями...

Положительно приходится поражаться быстрому развитию жизни в Сочи: в 1901 году там было еще только два плохоньких извозчика, выезжавших на линейках, теперь их имеется 17, у большинства из них четырехместные коляски-корзинки, такие же, как у ялтинских извозчи-

ков, и у некоторых из них колеса снабжены резиновыми шинами. Словом, приезжая в Сочи, вы теперь попадаете в благоустроенный городок, который уже смело можете назвать курортом: имея прекрасный приморский бульвар, хорошо устроенную водолечебницу доктора Подгурского, 13 или 14 гостиниц, 7 практикующих в городе врачей, 2 клуба, библиотеку, почту и телеграф, хорошие экипажи, оркестр военной музыки, играющий на бульваре два или три раза в неделю, – что же еще желать от родившегося четыре-пять лет назад курорта?»

Но одно дело – врач, а другое – поэт.

Ближе к концу девятнадцатого массовыми делаются увлечения историей и краеведческие практики. В первую очередь это касается столиц, усадеб, археологических захоронений. Но и провинция не остается за рамками. Краеведы познают родимый край. Журнал «Русский турист», орган общества велосипедистов-туристов, в частности, пишет про Ростов-на-Дону: «Город Ростов-на-Дону – это центр торговли юга, сердце промышленности... Город растет с американской скоростью... Главная улица, Садовая – это Невский Ростова. Действительно, улица эта вполне может равняться с нашим петербургским Невским, хотя ширина ее и меньше Невского. Тротуара асфальтовые; кроме того, со стороны, прилегающей к мостовой – аллеи, чего нет в Петербурге. Освещение электрическое, очень хорошее; расстояние между фонарями значительно меньше, чем в Петербурге. Дома каменные, весьма красивой, легкой архитектуры. Особенное внимание заслуживает новый городской дом – дивно красив и массивен. Магазины чисто европейской наружности. Масса фабрик и заводов. Здесь знаменитые табачные фабрики Асмолова и Кушнарева, табак которых курит вся Россия.

Вероятно, скоро наступит время, что купцы Кавказа перестанут ездить в Москву, а все дела свои будут иметь в Ростове».

Живой, в чем-то задорный стиль туристов-велосипедистов разделяют профессиональные историки. Один из них, Александр Ильин, писал все про тот же Ростов-на-Дону: «Ростов-на-Дону, представляя из себя в настоящее время крупный торгово-промышленный центр юго-востока России, обязан своим процветанием исключительно благоприятным географическим условиям, которые и создали его судьбу... Ростов рос и развивался сам собою... Было время, когда в землях приазовья гремел Таганрог, но время это безвозвратно ушло в область преданий. Таганрог теперь живет воспоминаниями о прошлом величии, тогда как Ростов живет настоящим и, прогрессируя из года в год, свое будущее представляет себе в самом привлекательном виде».

Александр Ильин, историк, 1909 год.

Историк С. Д. Шереметев писал о Зарайске: «Солнце уже было высоко и сильно пригревало, когда мы вышли из Зарайского собора и спустились к Осетру. Здесь, за мостом, начинается Веневский тракт. О Зарайском мосте говорится в Зарайских платежных книгах XVI века: «Да у Николы через реку Осетр мост, а мостовщины забирают на протопопа с братиею. Да на реке осетре мост водяной, а збирают с того мосту с иногородца с места по три деньги, а с тутошняго Николы чудотворца с торгового человека с места по две деньги, и збирают тот мост таможенные целовальники на протопопа с братиею. Да в реке рыбные ловли и бобровые гоны сверху от речки от Носовки вниз по реке Осетру до устья реки Осетра верст на тридцать и больше, а владеет теми рыбными ловлями и бобровыми гоны Никольский протопоп с братиею».

Вид с противоположного берега Осетра на город очень хорош, и чем дальше удаляешься по направлению к Веневу, тем он становится лучше. За речкою Изнанкою начинается большак, обсаженный еще уцелевшими старыми ветлами. Широко расстилаются поля по обеим сторонам дороги. Кое-где островком покажется роща и мелькнет вдали крест сельского храма... Оглянешься еще раз – и древний Зарайск с своим Кремлем кажется вам сказочным городом; скоро он исчезнет совсем – и перед вами одна большая дорога с однообразною вереницею нагнувшихся ив».

Краевед Юрий Шамурин восхищается Великим Новгородом: «Ростов, небольшой уездный город, поддерживает «европейскую репутацию» Ярославской губернии... В городе тихо, мирно, много зелени. Нет беспробудного пьянства столицы, нет озлобленных лиц и ругани. Какая-то монастырская или древнерусская степенность царит в городе.

Совершенно неуловимые черты сближают древние памятники ярославских городов с их теперешней жизнью. Остатки старины стоят на площадях и улицах, как прочный фундамент той жизни, что шумит теперь вокруг них. Здесь не чувствуется разрыва между прошлым и настоящим, и это впечатление глубокой почвенности жизни и культуры придает памятникам старины особое серьезное значение, выдвигает их как нужную и важную сторону жизни. В русских городах крайне редко приходится чувствовать эту связь истории и современности, и нигде не чувствуется она так сильно, очевидно и упорно, как в Ростове».

А краевед И. Золотницкий – о Царском Селе: «Царское Село – один из самых благоустроенных уездных городов. Прямые, широкие и довольно чистые улицы, красивые и чистые постройки, отсутствие режущих глаз бедных кварталов и слободок с полуразвалившимися домиками – все это производит приятное впечатление на людей, привыкших видеть в уездном городе бедное, скучное и грязное захолустье».

Господин Золотницкий слукавил – Царское село в первую очередь императорская резиденция, а вовсе не уездный город. Но главное – стиль.

Классика жанра – братья А. и Г. Лукомские, архитектурный и исторический путеводитель по городу Костроме: «На фоне черного неба, когда покровом жутким ночь окружит все стены зданий, ярко освещенных огнем фонаря, они покажутся еще живее, еще фееричнее. Выглядывают тогда из-под лобья темные окна домов, а те, которые озарены изнутри светом, позволяют нам увидеть иную жизнь, ту, что за стенами, за геранью и за занавеской кружевной, у лампы, на мебели старинной, и у рододендрона широколистного.

Так сладостно бывает вечером, бродя по улицам пустынным, уйти в миры чужие, облететь мечтою все эти маленькие домики, увидеть весь уют патриархального уклада, мир предразсудков и ограниченного счастья всех этих маленьких людей, ушедших целиком в жизнь своего родного провинциального городка.

И церкви с куполами, усыпанными крупными, яркими звездочками, увенчанные пирамидами, шпицами и вазами, вытянутыми, сплюснутыми, перевитыми, задекорированными гирляндами и лентами, с затейливым узором оконных наличников, карнизов, с бусами кокошников и порталов, с клеймами резного камня, изображающими то зверя лютого, то птицу-неясыть, то льва геральдического, окрашенные пестрыми колерами в шашку, или в лимонный цвет, на котором, как на парчу, положено кружево белых украшений, – полны той особенной сказочной прелести, которая бывает под хрустальным кровом колпака или пресс-бюара, в засушенных цветах весны, давно минувшей... Над старинными стенами свешиваются низко и ласково, покрытые инеем, отяжелевшие ветви деревьев; придавая фантастический вид всему окружающему, возвышаются покрытые шапками снега стройные ели; выглядывают из-за крыш лохматые кедры, или, рисующие на темном небе, как иней на стекле узор из страусовых перьев, березы.

Насупились в конусообразные верхушки башней монастыря, покрытые снегом и охраняющие златоверхие храмы, что за высокими стенами».

Что это? Научный труд или же поэтические экзерсисы? Произведение высоколбых ученых или же беллетристов-романтиков? И далее: «А быт тридцатых-сороковых годов, каким-то чудом сохранившийся до наших дней? Каланча с сонным пожарным, гауптвахта с арестованными офицерами, а полосатые будки часовых и столбы перед постоялыми дворами, – неужели все это, столь пригодное для декорации гоголевской и даже Грибоедовской пьесы не чудо, не феерия, а действительность?»

А прелесть крепкого аромата бакалейных лавочек, терпкий запах близ «кожевенных линий», или в «табачных рядах», или воркование голубей под сводами «мучных» или «льняных» линий? во всем этом также выражается провинциальная жизнь.

А чугунные решетки, украшенные гирляндами из черных цветов, вырастающие как бы из снега, а иконы, восьмиугольные, круглые, – под сводами гостиных дворов? А этот скрип клеенкой обитых трактирных дверей, из которых валит пар и вкусный запах, а обитые стеклярусом карусели с пегими, рыжими и вороными лошадами, удивленно смотрящими блестящими глазами и, на радость детворе, кружащимися под звуки инструмента из бутылок, до половины налитых водою? А танцы под громохота духового оркестра в белоколонном зале Дворянского Собрания, где встретить можно еще типы давнишних времен: дам в желтых парчовых нарядах, в платках ярко-узорчатых, с белыми страусовыми перьями в пудренных волосах, или мужчин в костюмах времен очаковских и покорения Крыма».

Воздействие русской провинции непредсказуемо.

А провинциальные города, между тем, становятся сами героями литературы – наряду с томными барышнями и бравыми офицерами.

«Тихий город Мямлин еще спит, приютясь в полуколыце леса, – лес – как туча за ним; он обнял город, продвинулся к смирной Оке и отразился в ней, отемнив и бесконечно углубляя светлую воду... Сад раскинулся на горе, через вершины яблонь, слив и груш, в росе, тяжелой как ртуть, мне виден весь город, с его пестрыми церквами, желтой недавно окрашенной тюрьмой и желтым казначейством».

Это – рассказ А. М. Горького «Губин». А город Мямлин – он в действительности Муром. Стоит он в окружении знаменитых муромских лесов и ничего особо страшного нет в этом окружении.

А вот И. Василенко, о Белгороде: «Я хожу по улицам Градобельска и считаю церкви. За три дня насчитал тридцать шесть. А жителей в городе не больше сорока тысяч. Интересно, чем они занимаются? Неужели только тем, что ходят по церквам? Чаше всех тут бросаются в глаза попы и монахи. Ими хоть пруд пруди. И очень много учащихся. В таком маленьком городке есть и мужская гимназия, и две женские, и духовная семинария, и реальное училище, и учительская семинария, и женское епархиальное училище. А возглавляются они старейшим в России учительским институтом. Чтобы стать его воспитанником, я и приехал в этот уездный городок с уютными полутораэтажными домами и огромными раскидистыми тополями по обеим сторонам немощеных улиц...

До вечера я бродил по городу. Прожив здесь четыре месяца, я так и не удосужился осмотреть его весь. Добрел я и до той окраинной улицы, где стоял длинный закопченный сарай. По тяжелому запаху было нетрудно догадаться, что это и был салотопенный завод».

Градобельск – Белгород. Мямлин – Муром. Герои – прототипы. Все как у людей.

Даже если города не укрываются под псевдонимами, они нередко предстают живыми персонажами. Поэт Мариенгоф писал о Нижнем Новгороде: «Нижний! Длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенизационных бочек и многотоварная, жадная до денег, разгульная Всероссийская ярмарка. Монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередине города, а через реку многотысячные Сормовские заводы, уже тогда бывшие красными. Трезвонящие церкви, часовенки с чудотворными иконами в рубиновых ожерельях и дрожащие огоньки нищих копеечных свечек, озаряющих суровые лики чудотворцев, писанных по дереву-кипарису. А через дом – пьяные монополюшки под зелеными вывесками.

Чего больше? Ох, монополек!

Пусть уж таким и останется в памяти мой родной город, мой Нижний. Пусть!»

А другой поэт, К. А. Доводчиков поднапрягся и выдал стихотворение под названием «Панорама Ярославля»:

Много чего есть на «святой Руси».

Ярче же прочих описал провинциальный город Федор Сологуб: «Плывем на пароходе по Волге, видим – Кострома на берегу. Что за Кострома? Посмотрим. Причалили. Слезли. Стучимся.

- Стук, стук!
- Кто тут?
- Кострома дома?
- Дома.
- Что делает?
- Спит.

Дело было утром. Ну, спит, не спит, сели на извозчика, поехали. Спит Кострома. А у Костромушки на широком брюхе, на самой середке, на каменном пупе, стоит зеленый Сусанин, сам весь медный, сам с усами, на царя Богу молится, очень усердно. Мы туда, сюда, спит Кострома, сладко дремлет на солнышке.

Однако пошарили, нашли ватрушек. Хорошие ватрушки. Ничего, никто и слова не сказал. Видим, – нечего бояться Костромского губернатора, – он не такой, не тронет. Влезли опять на пароход, поехали. Проснулась Кострома, всполошилась.

- Кто тут был?

Кто тут был, того и след простыл, Костромушка».

Это – воплощение и квинтэссенция мифа о провинциальном русском городе. Сонном, ленивом, степенном, благодушном, беззлобном, терпимом, хлебосольном, монархолобивом. А впрочем, только ли о мифе речь? Может быть, она действительно такая – русская провинция эпохи Сологуба?

Что ж, не теряя больше времени, приступим к детальнейшему рассмотрению этого феномена.

Этот город, как плебей,
Пародируя столицы,
Полон чопорных затей.
В нем свои есть львы и львицы,
Есть приюты для детей,
В нем есть клуб, театр, собрание,
Магазины – наказание
Для расчетливых мужей.
Есть притонов штук десяток,
Полицейский есть причет,
Маскарады есть для Святков,
А для масленой – народ...

Мой дом – моя крепость

Логично было бы разбить эту главу на четкие подглавки – дом дворянина, дом мещанина, дом крестьянина, дом офицера, дом священника. Но нет у нас такой возможности – ведь в избранный нами период истории русской провинции перемешались и сословия, и достатки. Бывший крепостной крестьянин, поднявшийся на торговле пенькой или дегтем, отстраивает четырехэтажные хоромы, а дворянин потомственный снимает у него угол под лестницей.

Тем не менее, какие-то закономерности все же присутствуют. В частности, самый богатый дом, за редким исключением – дом губернатора. Не удивительно, ведь губернатор – это главный и полномочный представитель самого государства. А государство уж никак не даст себе позволить в этом плане ударить в грязь лицом. В частности, дом, выстроенный для ростовского градоначальника, вообще вошел в поэзию:

А вот и другая постройка: «От восточных кремлевских ворот на восток же простирается длинная Московская улица, застроенная сплошь каменными домами под одну крышу. При начале этой улицы недалеко от кремля вы встречаете прекрасную площадь с красивым садиком в середине и обставленную кругом великолепными постройками... Здесь вы видите длинный двухэтажный дом, имеющий 20 окон на площадь и в нижнем этаже столько же лавок. Этот красивый дом, покрашенный светло-голубою, здешней медною краской, крытый белой черепицей, и в бельэтаже которого находится квартира начальника губернии, имеет прекрасную наружность: изящного рисунка балкон с навесом, в окнах жалюзи и характер архитектуры чрезвычайно грациозный».

Это – воспоминания об Астрахани. Подобный дом – на самом деле исключение из правила. Губернатор – и лавки! Экое некомильфо! Впрочем, как раз в Астрахани это самое соседство никого не удивляло и не принижало статус губернатора. Город волжский, каспийский, заполненный множество торговых подворий, включая персидское. Город-порт, город-купец, город живущий именно торговлей и, вследствие своей многонациональности и, соответственно, отсутствия общего современного бога, поклоняется он древнеримскому Меркурию. А значит, помещения для торговли вполне уместны в доме первого лица, тем более, если его архитектура отличается «чрезвычайной грациозностью».

Иной раз возведение резиденции для губернатора было делом и хлопотным, и даже курьезным. Вот, например, в центре Уфы в конце позапрошлого века решили возвести новую Троицкую церковь. Но дальше фундамента дело не двинулось – поскольку эта церковь вышла бы на «неблизком расстоянии от домов жилых, то прихожане признали постройку эту делом для себя невыгодным... Деньги, оставшиеся от закупки материалов, в 1808 году отобраны были начальством».

В конце концов на том фундаменте начали возводить обычный дом. Его почти что завершили, но затем забросили, он долго стоял недостроенный, без крыши и был, в конце концов, куплен казной. Журнал присутствия уфимского губернского правления об этом сообщал: «По недостатку в г. Уфе удобных домов для размещения начальника губернии в 1859 г. с Высочайшего разрешения приобретен в казну покупкою для этой надобности выстроенный дом коллежской советницей Жуковской с находящимся при нем деревянным флигелем за 12 тыс. рублей».

Правда, покупку эту все-таки нельзя было назвать удачной. В том же «присутственном журнале» говорилось: «В старом доме в продолжении всей зимы была необыкновенная сырость, вероятно, от того, что стены много лет стояли без покрышки, сырость впиталась в них и с началом оттопки дома выступила наружу».

Больше того, городской губернатор «при осмотре заметил, что дом этот состоит только в парадных и приемных комнатах, а для домашней семейной жизни помещения нет, посему

приказал изменить расположение комнат... При этом необходимо было переделывать уже сделанное и делать вновь против первоначального проекта, именно, закладывая двери и окна, пробивать таковые вновь в стенах, делать пристройки, прибавлять потолки, устраивать лестницы и переделывать печи».

В конце концов дом все же привели в приемлемое состояние. И не только приемлемое – он стал одним из красивейших зданий города Уфы.

А во Владимире была другая, грустная история. Там губернаторская резиденция тоже обращала на себя внимание – роскошный особняк-дворец с великолепной колоннадой в стиле классицизм и садом-цветником с видом на реку Клязьму – по всеобщему признанию лучший вид во всем Владимире. Выстроить его распорядился губернатор (и по совместительству поэт) Иван Михайлович Долгоруков. До этого он проживал в другом дворце, ничуть не хуже. Но когда у Долгорукова скончалась жена, он не мог больше оставаться в старой резиденции, где все напоминало об усопшей – и выстроил резиденцию новую, разумеется, на казенные деньги. Там он обжился, залечил душевные раны – и женился повторно. Собственно, ради новой супруги сад-цветник и разбили.

Днем в этих домах решались важные проблемы, по вечерам же закатывались дорогие балы. Не потому что губернаторы все были сплошь весельчаки – им это вменялось в обязанность и даже выделялись на подобные мероприятия специальные деньги. Считалось, что такое «неформальное общение» с элитой города улучшит взаимоотношения начальника губернии (обычно – человека пришлого, чужого) с влиятельными старожилками.

А вот тверской губернатор А. Сомов на том экономил. Один из современников писал: «Он давал гласным обед с дешевеньким вином, не тратя лишних ни своих денег, ни казенных, отпускаемых губернатору на „представительство“. В три года раз он давал такой же обед тверскому дворянству... и, так как был очень скуп, то этими двумя обедами считал свои обязанности по „представительству“ выполненными. Над этой слабостью его местное общество посмеивалось, но вообще было очень довольное своим губернатором».

Сомов, между прочим, сильно рисковал – ведь присвоение денег, выделенных на «приветливое гостеприимство» было чистой воды казнокрадством.

Кстати, руководителям Тверской губернии, в сравнении с коллегами, неплохо подфартило. Ведь их резиденция располагалась ни где-нибудь, а в бывшем царском путевом дворце. Несмотря на смену пользователя, дворец все так же числился в ведении Министерства двора, и этим самым министерством для его обслуживания выделялось десять тысяч рублей в год – прямая экономия для губернаторского кошелька.

Кстати, по традиции именно в доме губернатора устраивали представления новых начальников губерний. Проходило это строго и официально. Вот, например, как представляли жителям Самары нового губернатора В. В. Якунина: «В общем зале губернаторского дома собираются в мундирах старшие служащие всех ведомств, предводители дворянства, представители земств и города. Губернатор, тоже в мундире, выходит из внутренних комнат, говорит, обыкновенно, краткую речь и обходит по очереди всех собравшихся, которых ему представляет вице-губернатор. Окончив обход, губернатор просит всех помочь ему в трудном деле управления губернией, кланяется и уходит к себе».

А спустя несколько дней – ясное дело, бал. Да, впрочем, что за чудо – бал? В русской провинции тем балом никого не удивишь. Главный редактор «Костромских губернских ведомостей» фон Крузе примечал: «В настоящую зиму Кострома веселится более, нежели когда-нибудь. Для истинного и общественного веселья нужны не великолепные залы, не пышные и роскошные балы, но радушные хозяева и веселые гости; в тех и других здесь нет недостатка. Если общество костромское немногочисленно, то к чести его должно сказать, что в нем заметны единодушие и приязнь, а это главное в небольшом городе. Здесь все слито в одно; нет слоев в обществе, нет интриг и зависти, как нет гордости и церемонности; везде согласие

и простота, оттого и все приятно. Бывают премилые частные вечера, где гости, ожидаемые и встречаемые радушными хозяевами, веселятся от души до поздней ночи, без натянутости, и не привозят домой скуки».

Дворянство же по большей части проживало скромно, занимаясь делами общественными и проживающие свою личную жизнь. Вот, к примеру, одно из событий, произошедшее в дворянском доме города Череповца – рождение будущего баталиста В. В. Верещагина. Здесь появился на свет знаменитый художник В. В. Верещагин. Сам он об этом писал: «14 октября 1842 года в день папашина рождения вечером, когда во всех комнатах играли в карты, я явился на свет – подали шипучки и поздравили предводителя и предводительшу с Василием Васильевичем номер два. Это достопамятное для меня событие случилось в г. Череповце».

Отец художника действительно был здешним предводителем дворянства. Впрочем, он не слишком выделялся из общей массы черепан: «Отец был не блестящ, с довольно мещанским умом и нравственностью, не блестящ, но и не глуп». Соответствующим образом он проводил свои досуги: «Среднего роста, с брюшком, или, как мы, смеясь, называли, с „наросточком“, он был красивой симпатичной наружности. Голос имел мягкий и пел довольно приятно... Был он большой домосед, и любимое занятие его составляло читать лежа на диване и время от времени дремать».

Тем не менее, у лежебоки-предводителя был весьма солидный кабинет: «обставлен старинной мебелью красного дерева. Чрезвычайно пузатые кресла и стулья покрыты черной волосяной материей. Задняя стена кабинета чуть ли не вся заставлена широчайшим книжным шкафом со стеклом, с выдвижными дверцами. На верхних полках помещаются бесконечные ряды переплетенных „Отечественных записок“ и „Библиотеки для чтения“. На средней красуется „Путешествие Дюмон-Дюрвиля“ в толстых кожаных желтых переплетах, а пониже тянется длинный ряд какого-то энциклопедического словаря в сафьяновых переплетах. По стенам, оклеенным старинными зелеными обоями, развешены сабли, удочки и мухобойки. Кафельная печь, разрисованная синими кувшинчиками, помещается в углу и занимает порядочную долю комнаты. Среди же самого кабинета стоит большой письменный стол на выгнутых ножках. На нем аккуратно разложены приходно-расходные книги, тетради, разные письменные принадлежности и вазочка карельской березы с табаком».

Это не удивительно. Художник вспоминал: «От жизни в зажиточном петербургском доме у папаши моего осталась привычка покупать вещи в лучших магазинах: его чернильница, перочинные ножи, бритвы, ружья – все вещи мне хорошо знакомые – были очень добротны».

Мать же была личностью не менее симпатичной: «Как говорят, в молодости красавица, высокая стройная брюнетка. Она осталась после матери ребенком и воспитание получила под надзором старика отца, умного и набожного. Характера была открытого; горе ли, радость, все равно, не могла скрыть, должна была непременно с кем-либо поделиться... Зная отлично французский язык, почитывала иногда повести и романы; была хорошая рукодельница и часто вышивала шерстью по канве, русским швом по полотну, плела кружева, но всего более любила она принимать гостей и угощать их, хлебосолка была».

Впрочем, предавалась она и иным досугам: «В белой ночной кофточке, откинувшись назад, сидела в креслах мамаша и, покуривая тоненькую папироску, как бы любовалась собою в зеркало. Позади за креслом любимая ее горничная Варюша причесывала ее голову. Чесание это продолжалось обыкновенно чуть не до полудня. Вот Варюша отделила тоненькую прядь черных волос, быстро наматывает себе на указательный палец, старательно снимает колечко и затем прикалывает его шпилькой барыне на висок».

«Василий Васильевич номер два» тоже получился сибаритом. Один из современников писал: «Две просторные комнаты, занятые им на антресолях Кокуевской гостиницы, представляют целый музей: кокошники, вообще головные и всякие другие женские уборы, предметы старины самые разнообразные, тут и иконы, и пуговицы, и монеты, и оружие, и рукописи – все

это приобретает художником с большим знанием дела и все поступает в громадное собрание бытовых предметов всех стран света, куда только приводит его любознательность».

Впрочем, не исключено, что главным здесь было не сибаритство, а профессиональный интерес – многие живописцы создавали такие коллекции.

Но главным, конечно, была не коллекция и не семья, а работа. И уже сын художника писал о последних секундах пребывания Верещагина дома: «Рано утром 28 февраля отец встал, напился чаю, позавтракал, простился с каждым из служащих в усадьбе, а потом простился с матерью... Отец был, по-видимому, крайне взволнован и только молча прижимал нас к себе, нежно гладил по голове... Потом отец крепко обнял каждого из нас, быстро поднялся, и мы слышали, как хлопнула дверь парадного входа... Вдруг мы услышали быстрые шаги отца... Отец стоял на пороге, лицо его выражало страшное волнение, а глаза, в которых явно блестели слезы, он быстро переводил с одного из нас на другого. Продолжалось это не более одной или двух секунд, после чего он резко повернулся и вышел. То были последние мгновения, в течение которых мы его видели».

Впрочем, оставим грусть, и перейдем к более распространенному типу провинциальной недвижимости – дому городского обывателя среднего уровня достатка.

* * *

«Краткая молитва – одевание – умывание (мылом или розовой водой), посещение заутрени или молитвы дома, занятие хозяйственными делами (а для хозяина и исполнение своих обязанностей вне дома). Если при этом оказывается свободное время, хозяин занимался чтением, хозяйка – шитьем. В десять часов – посещение обедни, в полдень – обед, потом – отдых и снова дела до шести часов, когда слушали вечерню».

Вот формула, выведенная историком Н. Костомаровым применительно к городу Мурому. И хотя Муром – центр не губернский, а уездный, формула эта работала практически во всех более-менее зажиточных провинциальных городах России. А Муром – зажиточный город, купеческий, не даром стоит на Оке – второй по значению реки европейской России.

Семейства побогаче, разумеется, имели собственные дома. Кто деревянные, а кто кирпичные. Выбор материала не был напрямую связан с материальным положением – каменный, конечно же, дороже и престижнее, но деревянный здоровее, в нем и дышится иначе. А перед домом, в обязательном порядке – сад.

В таком вполне солидном доме в тихой части Тулы провел свое детство писатель В. В. Вересаев. Он вспоминал об этих временах: «Тихая Верхне-Дворянская улица... Одноэтажные особнячки, и вокруг них – сады. Улица почти на краю города, через два квартала уже поле. Туда гонят пастись обывательских коров, по вечерам они возвращаются в облаках пыли, распространяя вокруг себя запах молока, останавливаются у своих ворот и мычат протяжно. Внизу, в котловине – город. Вечером он весь в лиловой мгле, и только сверкают под заходящем солнцем кресты колоколен».

Конечно же, свой сад был и у Вересаевых: «Этот сад был для нас огромным, разнообразным миром, с ним у меня связаны самые светлые и поэтические впечатления детства,» – признавался Викентий Викентьевич. И пояснял: «Сад вначале был, как и все соседские, почти сплошь фруктовый, но папа постепенно засаживал его неплодовыми деревьями, и уже на моей памяти только там и тут стояли яблони, груши и вишни. Все росли и ширились крепкие клены и ясени, все больше ввысь возносились березы».

Трогательны и уютны и воспоминания писателя о домашнем быте: «В комнате было темно. В соседней комнате накрывали ужинать. Я сидел с ребятами на диване и рассказывал им сказку. Эту сказку я им уж много раз рассказывал, но они ее очень любят и все просят еще».

Или: «У нас в Туле была кошка. Дымчато-серая. С острою мордочкой – вернейший знак, что хорошо ловит мышей... Она появлялась с мышью в зубах и, как-то особенно, призывно

мурлыкая, терлась о ноги мамы... Мама одобрительно гладила кошку по голове; кошка еще и еще пихала голову под ее руку, чтоб еще раз погладили».

Неплохой дом занимали и родители будущего критика Н. Добролюбова, нижегородцы. Николай Александрович так о нем вспоминал: «Большой каменный дом... возбуждал удивление... Он был очень легкой архитектуры, расположен очень симметрично, украшения его были просты и благородны».

А другой жилец этого дома, некоторое время там квартировавший Александр Улыбышев восхищался не домом, а видами из добролюбовских окон: «Из открытых окон является великолепнейший вид в России: кремль на горе с зубчатой стеною и пятиглавым собором, блестящая, как серебро при свете полной луны, глубокая пропасть, наполненная темной зеленью и лачугами, через которую идет Лыкова дамба; амфитеатр противоположенной части города, спускающегося там живописными уступами до самой реки; наконец необъятная, величественно-суровая панорама Волги. Таких ландшафтных картин мало в Европе».

В Уфе прошло детство писателя С. Т. Аксакова. Аксаковы не бедствовали – и Сергей Тимофеевич описывал свое жилище в своей автобиографической повести «Детские годы Багрова-внука»: «Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на кособоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина на три над землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, с него была видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся возле спальни, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна».

В хорошем положении оказывалось офицерство. Актриса Е. Гоголева вспоминала о своем детстве в Судогде: «Это было очень давно. Мой отец был кадровым офицером русской армии. После сильного ранения на русско-японской войне он был назначен воинским начальником в Судогду. Моя мать обожала театр, и будучи очень энергичной женщиной, собрала людей и организовала в Судогде любительский драматический кружок. Мне было всего шесть лет. Мама играла, конечно, все центральные роли в спектаклях, которые ставились драматическим коллективом. И если там бывала какая-нибудь маленькая ролька, то поручалась она мне. Мы играли «Русскую свадьбу, но главным образом шла «Майорид» и саму Майорид играла мама».

Помню, нам полагался в Судогде большой дом с огромным садом и даже маленьким озером. Был и двор с курами и индюком, которых я очень боялась, бегая во дворе. Дом был деревянный, очень большой – все это хозяйство по должности полагалось отцу. В Судогде мы жили не очень долго, по-моему, года два или полтора».

Высокопоставленный военный. Его жена, «барынька», со скуки создавшая для таких же экзальтированных обывательниц театральные кружки. А вокруг – нищета, беспросветность и серость маленького, депрессивного уездного городка. «Горе где? – В Судогде». Эту пословицу еще до революции сложили сами судогодцы. Непродолжительное пребывание семейства Гоголевых было для них тем еще аттракционом.

Впрочем, не всегда огромный дом был к стати. Салтыков-Щедрин писал своему брату из Рязани: «Мы нанимаем довольно большой, но весьма неудобный дом, за который платим в год 600 р., кроме отопления, которое здесь не дешевле петербургского, а печей множество. Комнат очень много, а удобств никаких, так что, будь у нас дети, некуда бы поместить... Расчеты мои на дешевизну жизни мало оправдались... Хотя большинство провизии и дешевле петербургского, но зато ее вдвое больше выходит. А средства мои между тем убавились, потому

что я не могу писать, за множеством служебных занятий, и следовательно, не могу ничего для себя приобретать».

Можно лишь посочувствовать известному писателю, исправлявшему, кстати сказать, в Рязани должность вице-губернатора.

* * *

На примере Салтыкова-Щедрина, да и на множестве иных примеров видно – размер дома не имел принципиального значения. С большим домом и хлопот побольше, и протопить его сложнее, и до домочадцев докричишься не всегда. А в маленьких домах – свое очарование. Вот, например, как братья Лукомские описывали дом Акатовых – памятник архитектуры Костромы, площадь всего 75 квадратных метров: «Небольшой, украшенный колоннами, образующими между капителями светелочку, а между пьедесталами своими подвальный этаж. Оконца последнего, затиснутые этими базами, дают много настроения: кажется, что вот в таком, именно, домике, могли жить те „три сестры“ Чехова, которые так стремились „в Москву“. Весь домик, с балконом от него отходящим, с ветвями дерева, свешивающимися над ним, с старенькой калиточкою и мертвенно бледною окраскою, ночью, освещенный ярким, белым электрическим светом, когда вокруг – пелена искрящегося снега и лишь черные окна глядят как глазные впадины черепа – производит потрясающее впечатление, которое еще более увеличивается, когда в окне мелькнет сквозь кружевную занавеску пламя зажженной лампы, или за стеклом, покрытым фантастическим узором инея, пройдет грустная и одинокая фигура».

И они же о другом шедевре, тоже костромском: Потрясает... домик Богоявленской... Весь фасад его не производит даже особенного впечатления. Лишь четыре колонки разнообразят плоское тело домика и дают ему приятные членения. Но когда вы увидите за балюстрадой из старинных балясин, в цокольном этаже, ушедшем в землю на три аршина и отделенном этой стенкой с балюстрадой от тротуара – окна и живущих там, тоже за кружевными занавесками, людей, а на окне пестрые игрушки и горшочки с геранью и гелиотропом – вы остановитесь невольно и загляните в эти оконца, и призадумаетесь над судьбами этих людей. Мечта отнесет вас далеко, далеко от них в шумную столицу, к ярко освещенным магазинным окнам, к блеску вестибюлей и бельэтажных зал парадных улиц – и даже занесенные снегом жалкие избушки какой-нибудь деревни, пронесшейся в окне железнодорожного вагона, не произведут на вас такого впечатления, как эта пародия на комфорт, как это стремление не отстать от культуры в условиях захолустной жизни».

Вряд ли счастье обывателей зависело именно от размеров их жилища.

Если же говорить о зданиях феноменальных в том или ином смысле, то они, как правило, принадлежали купцам, которые совсем недавно сколотили состояние, традиций толком не имели и фантазировали отчаяннейшим образом. Вот описание одного из таких здания (Калуга), составленное тамошним краеведом Малининым: «Напротив Консistorии находится дом Чистоклетова, замечательный выдержанностью своей архитектуры. Это дом особняк купеческого типа; он ранее принадлежал Билибиным и послужил прототипом многих купеческих домов в Калуге. Дом не подвергался ремонту со времени постройки и сохранился очень хорошо. На софитах лестничной клетки и в зале фрески, которые чищены и мыты в 1869 г., но не подновлены за все время их существования. План дома – характера дворцов, по типу французских *hotel*’ей времени Людовика XVI. Фасад и два крыла заканчиваются типичными флигелями и замыкаются стеной или высокой решеткой. Фасад дома двухэтажный с тосканскими полуколоннами, поддерживаемыми кронштейнами и соединенными внизу балюстрадой из тонких балясин. Под легким карнизом прекрасный фриз, отличающий здания Калужского *empir*’а. Рисунок лир и аканфов необычайно сочен. Но самой красивой частью является парапет, в котором заключены редкие по рисунку грифоны с закручивающимися хвостами дельфинов и туловищем крылатых коней. Лепные аллегории живописи, скульптуры и архитектуры,

находящиеся между капителями, полны самого тонкого и благородного вкуса. В квадратах – женщины в ниспадающих нежными складками одеяниях у соответственных атрибутов. Видно, что владелец, желая блеснуть меценатством, не отстать от современности и показать любовь свою к искусствам, – велел зодчему изобразить побольше деталей... Внутри дома великолепны люстры, одна очень красивого голубого тона стекла – строгого рисунка. Мебель же и бронза, наполнявшие когда-то дом, исчезли».

Каких только чудес не возводили на своих владениях купцы. Вот например в Ростове-на-Дону, напротив Городского сада стоит дом, вывезенный из Генуи. Простой российский хлебник, владелец зерновых складов и мельницы господин Супрунов, гуляя итальянскими очаровательными улочками вдруг увидел дом своей судьбы. Он сразу же в него влюбился и решил: тот дом просто обязан стать моим. Особенно понравилась ему отделка мрамором и разноцветными пластинками. Он постучался в дверь и предложил хозяину продать свою недвижимость. Тот никуда переезжать, конечно же, не собирался и ответил вежливым отказом. Но хлебник Супрунов не отставал, все прибавлял в цене, и итальянец наконец-то согласился – сделка выглядела чересчур уж выгодной, чтоб от нее отказываться.

Дом быстренько разобрали, погрузили на баржу и доставили на родину хлебника, в город Ростов.

В Архангельске же, на Поморской улице стоит двухэтажный дом Екатерины Плотниковой, тоже купчихи и большой ценительницы красоты. Первый этаж предпринимательница отвела под мелкие кафе и магазинчики, а во втором организовала для себя жилые помещения, интерьеры которых были точнейшим образом скопированы с интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе.

А что такого? И купчихе радость, и народу есть о чем посплетничать.

Главным же приоритетом в провинциальной купеческой архитектуре, конечно же было богатство постройки. Или еще примитивнее – сумму, в которую дом обошелся хозяину. В Нижнем Новгороде, например, красуется «Дом-миллионер» – дворец Рукавишниковых, который обошелся владельца ровно в миллион – ни рублем больше и ни рублем меньше. Писатель Иван Рукавишников, выходец из того рода Рукавишниковых описал планы по его строительству в биографическом романе: «Будущий дом велик и прекрасен. Тысяча каменщиков будут строить. Чертежи-планы из Москвы и из Петербурга. И будет дом-дворец. И во дворце – сто комнат. И зал в два света. И лестница – мрамор, какого нет нигде. И будет дворец тот стоять ровно миллион... Пусть весь город ахнет. Пусть со всей Волги полюбоваться съезжаются. Где стоять дворцу тому? Не в улице же узкой, где дома по обе стороны. А на набережной на верхней».

В состав же этого дворца вошла маленькая хибарка – она принадлежала престарелой тетушке, которая принципиально не хотела покидать свое привычное гнездо. Пришлось со всех сторон обстроить ее новым домом.

А бывало, что происхождение купеческих дворцов было совсем курьезным. В частности, в один прекрасный день российский император Александр Третий предложил купцу Сергею Худякову приобрести участок земли в тогда еще совсем не популярном Сочи. Худяков всячески отнекивался, но тут вмешалась в разговор его супруга. Она произнесла:

– А помнишь, Сережа, когда мы были еще очень молодыми людьми, ты ухаживал за мной и всегда обещал, что когда разбогатеешь, построишь дачу в красивом месте и назовешь ее моим именем. Сколько уже лет прошло, а как помнится...

Худякову ничего не оставалось, как действительно построить в Сочи дачу и назвать ее «Надежда». В наши дни это – известнейший «Дендрарий».

Впрочем, забавные истории, связанные с возведением домов, были присущи не одним только купцам. В частности, в Царском селе некий путеец В. Савицкий каким-то образом разжился некоторым количеством мрамора и гранита. И объявил архитектурный конкурс, в условиях которого была такая фраза: «Ввиду наличности у владельца запаса гранитных камней

желательна отделка цоколя и выступающих частей фасада гранитом, а заполнение облицовочным кирпичом и майоликой».

Архитектор В. Васильев, выигравший конкурс, честно выполнил условия заказчика. На царскосельской улице возник довольно симпатичный особняк в стиле «модерн» с преобладанием гранитно-мраморных мотивов.

Курьезными нам показались бы сегодня ритуалы, связанные с новосельем. В частности, калужское семейство купцов Раковых перед вселением в новопостроенный роскошный дом, построенный не где-нибудь, а на пересечении двух главных улиц, рассылало знатым и богатым горожанам приглашения такого содержания: Дом был построен в 1911 году. Весь калужский бомонд получил приглашения: «Петр Степанович и Надежда Васильевна Раковы покорнейше просят Вас почтить своим присутствием торжество освящения нового дома и магазина... сего 17 апреля 1911 года и откусать хлеба-соли. Молебствие имеет быть в доме в 2 часа дня».

А впоследствии внучка хозяина вспоминала всю эту «хлеб-соль»: «Переезд в новый дом в детской памяти моей мамы, тогда девочки 10 лет, запечатлелся огромным количеством тортов, которые весь город дарил нашей семье на новоселье. Торты олицетворяли собой хлеб-соль и должны были принести в дом благополучие и достаток. Тортов было столько, что просто съесть их было невозможно. Ими угощали друзей и гостей, их дарили знакомым, но все равно кладовки оставались заполненными этими тортами».

Внутренне же убранство и сам быт купцов по большей части были скромными и даже чересчур – в противовес внешнему лоску их недвижимости. Вот, например, воспоминания костромича о жизни одной, мягко скажем, семьи тамошних предпринимателей: «Два брата и сестра Акатовы занимали большой каменный двухэтажный с антресолями дом на Русиной улице, на углу с Губернаторским переулком. Жили они очень замкнуто и скупно, хотя в деньгах не нуждались. Друг другу говорили: «Вы, братец», «Вы, сестрица». Все они были пожилые, но рано осиротели. Поэтому за ними сохранилось прозвание Малолетки.

Домой они к себе во избежание лишних расходов никого не приглашали, никуда не ходили. Однажды один из братьев заболел и пришлось вызвать врача, который обнаружил, что оба братца спят в овальной комнате, некогда гостиной. Спят на двух узеньких диванчиках, обитых черной клеенкой, без какого-либо признака спального белья. Вместо подушки – старое свернутое изношенное пальто. В комнате из мебели стоял треногий стул и железный ручной мойник, из таза которого исходил одуряющий запах, ясно указывающий, что этот умывальник использовался также в качестве ночной посуды.

Однажды младший брат, поехав за мануфактурой в Москву, купил пролетку, что очень рассердило старшего братца; успокоился он только тогда, когда братец сказал, что купил пролетку по случаю за 25 рублей.

Случайно по дешевке братцы купили землю по Кинешемскому тракту и построили дачу. Приехав с сестрицей, они не спали всю ночь, так как на новом месте им показалось, что кто-то к ним лезет и хочет ограбить. Утром они вернулись домой и больше никогда на дачу не ездили. Кто-то из костромичей сумел уговорить их пожертвовать дачу и этим избавиться от расходов по содержанию сторожа. Вскоре на дачу въехал какой-то детский приют».

Единственно, на чем особо не старались экономить – это чай. Ярославский обыватель С. Дмитриев описывал своего рода чайный распорядок одного купеческого дома: «Хозяева пили чай и уходили утром в лавку; затем вставали женщины-хозяйки и тоже пили чай. Ольга Александровна выходила ежедневно за обедню, но к женскому чаю поспевала. В час дня обедал Константин Михайлович. В два часа – Геннадий Михайлович. Оба обедали в темной комнате рядом с кухней и после обеда уходили опять в лавку. Часа в 3 – 4 обедала женская половина. Около шести часов хозяева возвращались из лавки и пили немножко чаю. Часов в 8, иногда позднее, был чай с разной пищей, и горячей, и холодной, так что-то между ужином и закуской.

Наконец все расходились по своим комнатам, и большинство членов семейства укладывалось спать».

* * *

А вот воспоминания другого ярославца, Варфоломея Вахромеева: «Моя жизнь началась в нашем особняке на Ильинской площади. Родители и мы, дети, занимали весь верхний этаж дома. В одной половине были комнаты родителей, в другой – детские комнаты; их разделяла большая лестничная площадка. Она служила прихожей и гардеробной и потому была соответствующим образом обставлена. Дверь из нее вела на чердак.

Мои первые детские впечатления так врезались в память, что я до сих пор их хорошо помню. Они возникают перед моим внутренним взором как отдельные кадры ... Я вхожу в ванную комнату на маминой половине; в ней разливается сильный приятный запах обваренных отрубей. Моя няня Матрена ласково смотрит на меня и говорит: «Сейчас будем купать ребеночка». У мамы только что родился мальчик – брат Александр. Меня к маме не пускают, около мамы хлопочут акушерка, горничная и няня, а я предоставлен сам себе. Это осень 1906 года, и мне всего лишь два с половиной года.

...Мама сидит на низкой табуретке в детской комнате для маленьких, что около ее спальни, и кормит Алю грудью. Я верчусь вокруг нее. Мама спрашивает меня, шутя: «Ты тоже хочешь попробовать?» Я морщусь и отворачиваюсь от нее ... Папа выходит из своего кабинета с подвязанными вверх усами, его подбородок и щеки в мыле, он брился и идет умываться в ванную комнату ... Я болен и лежу в своей постельке с пологом (я пока еще на маминой половине), а Алю с няней поместили в хорной комнате, которая рядом, через площадку. Старшая сестра Катя в маминой гостиной за стенкой без конца повторяет на фортепьяно одну и ту же фразу; у меня жар, и ее музыка меня раздражает ... Няня приводит меня к дедушке, я здороваюсь с ним, он целует меня и дарит золотую монету. Сегодня день моего рождения – 5 марта! Бабушка выдвигает из-под кушетки в своей туалетной комнате большой ящик с деревянными солдатиками и позволяет мне осторожно поиграть ими. Она бережет их как память: это игрушки Миши, ее покойного сына, которого она очень любила. Он умер мальчиком ... Дедушка, мой крестный, сидит в своем большом кабинете; на столе горит лампа, он что-то пишет. Весь стол завален бумагами и книгами. Мне изредка разрешалось заходить к нему, но, к сожалению, бывало это очень редко ... Я спускаюсь с няней по лестнице, уже одетый для прогулки, и в это время вижу, как по коридору за стеклянной стенкой на площадке второго этажа проходит дедушка. Я хочу ему что-то крикнуть, но няня испуганно грозит мне и говорит: «Не мешай дедушке, он занят» ... Наш большой, светлый, золотисто-желтый зал сияет чистотой. Во всю его длину выстроились столы «покоем». Официанты из гостиницы заканчивают сервировку стола. Старших никого нет. Сестра Муся и мы с няней идем вдоль столов посмотреть на это «удивительное чудо». Подходим к середине стола, няня показывает на два прибора и говорит, что это – для жениха и невесты. В тот момент мы еще не можем сообразить, что происходит, и лишь к концу дня нам становится ясно. У нас в доме – свадьба! Дядя Сережа (папин брат) женится на тете Ксене (Ксении Геннадиевне Ямановской). В то время, как мы осматривали накрывавшиеся столы, взрослые были на венчании. Нас пустили вниз только после того, как закончился обед и начался бал.

Нашей первой задачей было посмотреть на невесту – тетю Ксению. Мы по-детски зачарованы ее видом: она такая красивая! Первое, что нас поразило и привлекло, – это громадный шлейф и вуаль, спускавшаяся на него; а на конце шлейфа – букетик искусственных лиловых цветочков.

Тетя Ксения идет по голубой гостиной, а мы с Мусей бежим за ней, стараясь схватить букетик: не успеваем, падаем на ковер и громко смеемся. Тетя Ксения опускается на диван в красной гостиной, сажает нас рядом с собой, ласкает, целует и говорит, что будет с нами дружить. Мы счастливы!»

Что это за семейство? Как ни странно, именно купеческое. В предыдущей части нашего повествования мы несколько сгустили краски, увлеклись купеческой экзотикой. В действительности здесь так же нельзя провести четкую черту, которая бы отделила быт мещанский от купеческого, дом дворянский от чиновничьего. Да – какие-то особенности, некоторые тенденции – но и не более того. Русской провинции свойственна мягкость переходов, неопределенность дефиниций.

Вот описание города Рыбинска, вышедшее в 1911 году, свидетельствовало: «Рыбинцы, разумея о купцах и мещанах, все генерально вежливы, искательны и гостеприимны, но богатые и не без кичливости, однако ж и те слабость свою стараются прикрывать гибкостью. Беспрерывное почти занятие с иногородники по торговле много действует на образование их в обращении, и многие мастерски умеют разведывать о нуждах своих по коммерции побочным и для жителей других места малоизвестным образом. Иногда даже употребляют лесть и униженность; впрочем, по кредиту пекутся быть всегда верными, разве молодые и маломощные запутываются, и то изредка при вольном обращении денег в роскоши, но не в распутство. Словом, рыбинцы ласковы, но не всегда простодушны, а паче где замешается интерес; гостеприимны, но редко без намерения; доброжелательны, но без потери своих выгод; не скупы, но и не щедры; предприимчивы, но мало предусмотрительны; да к тому же и не твердохарактерны. А во всех делах их чаятельность и надежда – вождь, прибыль – мета».

Столь же практичны были жители этого города в своем быту: «Рыбинцы живут довольно хорошо и трезво, но без роскоши, пищу употребляют здоровую, но нелакомую. Круг знакомств насчет обоюдных угощений ищет всяк, кроме родства и свойства, между равными себе. В домах наблюдают чистоту и опрятность, а паче богатые, кои еще тем один против другого и щеголяют, так что есть дома внутри очень хорошо расписаны, а у многих и мебель красного дерева; да и у бедных у редкого чтоб не была горница общекурена или бумажками цветными обита; употребление же чая до такой степени дошло, что и последний мещанин за стыд поставляет не иметь у себя в городе самовара».

Столь же степенны и невинны были их занятия: «Отменных от других городов Ярославской губернии мало, а разве взять за нечто отличное: 1) что женщины и девицы среднего состояния по праздничным и воскресным дням летом, а иногда и зимой после обеда, нарядясь в лучшие свои платья, выходят на улицы сидеть по скамьям у ворот; 2) что зимою по воскресеньям, отобедав, катаются на лошадях по городу. Женщины и мужчины в день, а девки ночью, кои также по ночам при сопутствовании пожилых женщин ходят для поклонения приносимым в город... Чудотворным иконам Божией Матери, в день же, напротив, в церквах редко появляются; 3) что в Святки за удовольствие поставляют, даже и из первых домов, молодые мужчины в особо нашитых по разным костюмам на случай таковой довольно опрятных платьях, замаскировавшись, ходить ночью по улицам и по дворам и, где пустят в комнаты, то с благопристойностью занимаются между собою разговорами шарлатанства, а иногда и пляскою с песнями, для чего нанимают и музыкантов. Словом, рыбинские по ночам Святки есть маленький Венецианский карнавал, но за всем тем никогда не доходит до правительства никакой жалобы насчет неблагопристойности и озорничества».

Это в какой-то степени было присуще всем провинциальным городам, по большей части мелким. Неспешность, склонность к соблюдению традиций, молчаливое осуждение эпатажа. Даже дети здесь вели себя патриархально. Михаил Нестеров вспоминал о своем детстве в Уфе: «Зимний вечер, мы с сестрой остались в горницах с няней. Сидим в столовой за круглым столом, я леплю какие-то фигурки не то из воска, не то из теста. Мы с сестрой ждем приезда родителей со свадьбы, ждем гостинцев, которыми, бывало, наделяли гостей в таких случаях».

И далее, о заготовке капусты: «Стук тяпок раздавался целый день по двору, и тут, как и летом, при варке варенья было необыкновенно приятно получить сладкий кочанок. В этом кочанке была какая-то особая осенняя прелесть».

Пастельность, спокойствие, полутона.

Столичным жителям это казалось диким. Даже тем, кто в провинции вырос. Антон Павлович Чехов, например, описывал очередной визит на родину, в маленький Таганрог: «Возле дома – лавка, похожая на коробку из-под яичного мыла. Крыльцо переживает агонию и парадного в нем осталось только одно – идеальная чистота.

Дядя такой же, как и был, но заметно поседел. По-прежнему ласков, мягок и искренен. Людмила Павловна, «радая», забыла засыпать дорогого чая и вообще находит нужным извиняться... Что сильно бросается в глаза, так это необыкновенная ласковость детей к родителям и в отношениях друг к другу... В 8 часов вечера дядя, его домочадцы, Ирина, собака, крысы, живущие в кладовой, кролики – все сладко спало и дрыхло. Волей-неволей пришлось самому ложиться спать. Сплю я в гостиной на диване. Диван еще не вырос, короткий по-прежнему, а потому мне приходится, укладываясь в постель, неприлично задирать ноги вверх или же спускать их на пол. Вспоминаю Прокруста и его ложе».

А если бы отец писателя не обанкротился бы своевременно, если б в всему семейству не пришлось бы прятаться в Москве от кредиторов – глядишь не было бы в нашей литературе ни «Смерти чиновника», ни «Попрыгуны», зато сам Антон Павлович жил бы всю жизнь в Таганроге, торговал бы колониальными товарами и не предъявлял бы претензий к удобной, наверное, лавочке, пусть и похожей на коробку от мыла.

Вот – еще описание домашнего провинциального счастья Ильи Бразнин, город Архангельск): «Пристав к берегу, мы несем через весь город охапки цветов. Улицы сонны и пустыньны. Мы приходим в дом и сваливаем цветы ворохами на столы, на плиту.

Разбуженная шумом мать поднимается с постели и всплескивает руками:

– Боже, сколько цветов!

Пять часов утра. Мы идем спать. Мать остается одна. Она уже не ложится больше. Она садится и начинает разбирать цветы. Моя старая кровать, сколоченная из простых еловых досок, стоит в кухне, и, укладываясь на нее, я слежу за матерью. Она напевает, перебирая тонкие цветочные стебли. Голос у нее слабый и дрожащий. Он мне бесконечно приятен. Это голос моего детства. Этим голосом спеты все мои колыбельные.

Мать сидит среди цветов, и это доставляет мне наслаждение. Среди них она совсем иная, чем тогда, когда сидит за работой... Наша кухня, пахнет землей, солнцем, заречными лугами. Мать не может ехать с нами в эти луга. И вот луга пришли к ней. Она среди лугов. Она забыла о доме, о хозяйстве, о работе, о постоянных своих заботах. Лицо ее озарено радостью. Это радость цветов. Так я называю это сейчас. Такой я запомнил мать на всю жизнь».

А вот как был устроен дом модистки во Владимире: «Перед домом был небольшой палисадник с кустами шиповника и сирени и лестница в несколько ступенек, спускавшаяся к двум дверям. В одну из них мы и позвонили. Дрогнули занавески на окне второго этажа, и через несколько минут послышались быстрые спускавшиеся по лестнице шаги. Дверь открыла молодая, очень подтянутая женщина с пристальным и необыкновенно энергичным взглядом. Поздоровавшись, она любезно повела нас по крутой лестнице в свою «святая святых» – обитель, где протекала ее жизнь и рождалось совершенно особое творчество. Так состоялось мое знакомство с «местной достопримечательностью», замечательным человеком, прекрасной портнихой Екатериной Семеновной Богдановой (в замужестве Фокиной). Это знакомство длилось много-много лет.

Поднявшись наверх, где таинство творчества рождало удивительные модели одежды, я оказалась перед дверью с портьерой из бархата болотного цвета. Легким движением отогнув портьеру, Екатерина Семеновна ввела нас в гостиную. Это была большая комната. На двух подоконниках цвели нежно-розовые альпийские фиалки. Их тончайший аромат растекался по всей гостиной. Между окнами стояло огромное трюмо в резной раме, со столиком, на котором покоилась большая пепельница, изображавшая ракушку с русалкой. Трюмо, достигавшее

потолка, выглядело величественным. В зеркале отражались стены гостиной с фотографическими портретами, разными безделушками, и от этого комната казалась очень большой. Были в ней и причудливая мебель с резными изгибами ножек и подлокотников кресел, и фортепиано, на котором, как я позже узнала, играла старинные вальсы и романсы хозяйка, и большие ковры по одной из стен и на полу. Какая-то особая таинственная тишина царил в гостиной. Перед иконой Николая чудотворца мирно светила лампадка. Время как будто остановилось, и прошлая эпоха, запутавшись в плюшевых занавесках, притаилась в углах комнаты».

Были, конечно же, в провинции и нарушители спокойствия. Не столько жулики и хулиганы – их злодеяния, как ни странно, вполне укладывались в тамошний жизненный ряд. Скорее, все таки, интеллигенция. Вот, например, как был устроен боровский и калужский быт семейства Циолковских по словам самого Константина Эдуардовича, «отца космонавтики»: «Я любил пошутить. У меня был большой воздушный насос, который отлично воспроизводил неприличные звуки. Через перегородку жили хозяева и слышали эти звуки. Жаловались жене: „Только что соберется хорошая компания, а он начнет орудовать своей поганой машиной“... У меня сверкали электрические молнии, гремели громы, звонили колокольчики, плясали бумажные куколки, пробивались молнией дыры, загорались огни, вертелись колеса, блистали иллюминации и светились вензеля. Толпа одновременно поражалась громовым ударам. Между прочим, я предлагал желающим попробовать ложкой невидимого варенья. Соблазнившиеся угощением получали электрический удар. Любовались и дивились на электрического осьминога, который хватал всякого своими ногами за нос или за пальцы. Волосы становились дыбом, и выскакивали искры из каждой части тела. Кошка и насекомые также избегали моих экспериментов. Надувался водородом резиновый мешок и тщательно уравнивался посредством бумажной лодочки с песком. Как живой, он бродил из комнаты в комнату, следуя воздушным течениям, поднимаясь и опускаясь».

Как-то это непровинциально.

Даже такие праздники как Новый год воспринимались здесь, в провинции, особо сокровенно: Одна из представительниц семейства Суздальцевых (город Муром) вспоминала: «Нарядная елка – таинственный стук в окно Деда Мороза, которого мы никогда не видали, но слышали его голос и стук. К этому празднику мы готовились заранее. Мама покупала цветной гофрированной бумаги: красной, синей, желтой, зеленой, голубой, а однажды раздобыла даже золотой и серебряной, только не гофрированной. Под руководством неутомимой мамы мы делали игрушки сами. Хлопушки, цепи, коробочки, рог изобилия, бомбоньерки. Из картона вырезали разных зверюшек: зайца, лису, медведя – и обклеивали золотой и серебряной бумагой. У нас в детской стоял довольно большой круглый стол с ящиками. Мы все рассаживались: я, сестра Таня, брат Вова, сестра Мара, а меньшая сестренка Ася только смотрела. Правда, чтобы она нам не мешала и не плакала, мы давали ей обрезки золотой бумаги, и она тоже что-то мастерила».

А мемуарист Ф. Куприянов вспоминал о христославах в Богородске: «Быстро одеваюсь и бегу в переднюю, где на пороге в залу, на специальном коврике стоят ребятишки и поют «Христос рождается...». Двери в переднюю почти не закрываются. Одна гурьба сменяет другую. Тут и совсем малыши, которые путём и слов то не знают, тут и организованные тройки из певчих, которые поют очень хорошо.

Стою рядом с ребятами и подпеваю им.

Ребята из певчих, даже и коротенький, простенький концерт споют.

Какое оживление, какие радостные, красные от мороза лица и какие звонкие голоса; невольно и тебя поднимает на какую-то высокую ступень. Тут и совсем малыши, которые и слов-то твердо не знают. Тогда подходили мои старшие братья и совместно преодолевали все трудности. Как же эти ребята были довольны... И так в течение двух-трех часов прихо-

дили замерзшие, заснеженные, радостные ребятишки и пели... Христославы получали по три копейки, а кто рассказывал рацею – пятачок».

А будущий философ В. В. Розанов писал о своем детстве в Костроме: «Бывало, выбежишь на двор и обведешь вокруг глазами: нет, все черно в воздухе, еще ни один огонек не зажегся на колокольнях окрестных церквей! Переждешь время – и опять войдешь. – „Начинается“... Вот появились два-три-шесть-десять, больше, больше и больше огоньков на высокой колокольне Покровской церкви; оглянулся назад – горит Козьмы и Дамиана церковь; направо – зажигается церковь Алексия Божия человека. И так хорошо станет на душе. Войдешь в теплую комнату, а тут на чистой скатерти, под салфетками, благоухают кулич, пасха и красные яички. Поднесешь нос к куличу (ребенком был) – райский запах. „Как хорошо!“ И как хорошо, что есть вера, и как хорошо, что она – с куличами, пасхой, яйцами, с горящими на колокольнях плошками, а, в конце концов – и с нашей мамашей, которая теперь одевается к заутрене, и с братишками, и сестренками, и с „своим домиком“. У нас был свой домик. И все это, бывало, представляешь вместе и нераздельно».

А еще провинциалы были большей частью домоседами. Вечера старались проводить не на гуляньях и не в кабаках, а дома, чтобы затем рано тихим образом лечь спать. В небольшой мере, что греха таить, тому способствовало скверное состояние городских инфраструктур. Актер В. Н. Давыдов писал о городе Орле: «Живописный Орел мне нравился, хотя удобств в городе не было никаких. Непролазная грязь, отсутствие водопровода, газа и уборных делали жизнь не особенно привлекательной, но орловцы, видно, привыкли ко всему этому и недочетов городского благоустройства совершенно не ощущали... Общественной жизни почти не было.

Здесь жители ценили домашний уют, тепло семейного очага и деревню... По домам играли в картишки, занимались разведением тирольских канареек, по вечерам любители ходили друг к другу слушать их пение, некоторые возились с цветами и любили похвастаться цветущей камелией или азалией. Все жили за ставнями, жили тепло, сытно и уютно».

И, соответственно, готовили «за ставнями» получше, чем в ином роскошном ресторане. Вот воспоминания одного архангелогородца: «А в жаркой кухне мы нашли бабушку, в фартуке, с раскрасневшимся от жара лицом. Она пекла блины. Рядом с плитой на табуретке стояла большая емкость с тестом, в другой было растопленное масло. Длинный ряд маленьких чугунных сковородок с толстым дном выстроился на плите. Бабушка работала сосредоточенно, ее руки так и мелькали с одного конца к другому. На каждую сковородку наливалось немного масла, затем тесто. К тому времени, когда оно налито в последнюю сковородку, приходило время переворачивать блин на первой, а когда все были перевернуты, с первой сковородки можно было снимать готовый блин и класть его на шесток. Бабушка снова и снова повторяла все операции, пока не появлялась горка золотистых тонких блинов, не тяжелых и не жирных, а полупрозрачных и очень вкусных. Их уносили на стол и немедленно начинали есть, несколько слоев сразу. На столе – миски со сметаной, икрой, большой выбор варений из диких ягод».

В основном же в Архангельске употребляли треску – за что архангелогородцев часто называли «трескоедами».

Если же готовить не хотелось, а кухарку не держали, то в особых случаях в дом приглашался проходящий повар. Об одном из них писал уже упоминавшийся богородский обитатель Федор Куприянов: «Федор Андреевич был кондитер, но в несколько ином понимании, чем теперь. Он был организатором обедов свадебных, юбилейных, похоронных и прочих. Зарабатывал поэтому от случая к случаю. Однако случаи, для которых требовался именно такой организатор, в Богородске происходили довольно часто.

Федор Андреевич был в свое время поваром, и, по-видимому, хорошим. Потом купил себе домик и очень тихо и скромно жил. Когда потребовалось больше средств, он ходил сам готовить по особым случаям. Потом потребовалось не только готовить, но и сервировать, для чего уже нужен был капитал.

Мама хорошо знала Федора Андреевича еще с девичества. Поэтому он пришел к ней с поклоном и просьбой помочь. О маминой доброте люди были наслышаны может быть даже больше, чем мы сами. Мама купила ему посуды на 48 человек и, можно сказать, подарила. Так Федор Андреевич стал «кондитером».

Он был маленького роста, со стриженными усиками, розовощекий и всегда улыбающийся. По-моему, его все любили, и профессия-то у него была такая – всем угодить.

У него была посуда, свои люди, столы, белье. Когда было нужно, это привозилось, ставлялось и сервировалось. Приглашались знакомые официанты и повара даже из Москвы.

Все было чин чинком, как в хорошем ресторане. Сам Федор Андреевич тоже был во фраке и катался колобком во все стороны».

* * *

Особенная радость – сад. Или же огород. А может быть, все вместе – кто как решит. У большинства провинциальных домиков были свои земельные угодья. У кого, опять таки, поменьше, у кого побольше – но на атмосферу, как и в случае с домами, те размеры не влияли.

Жизнь тех садов – особенная жизнь. Тамбовчанка Ю. Левшина писала в своих мемуарах: «В нашем саду было много цветов – и многолетних, и однолетних. Ими в основном занималась мама. Были ирисы, пионы, флоксы, астры. Букеты их все лето стояли в комнатах – на столах, подоконниках, пианино. И папа часто писал натюрморты с букетами цветов, собранных мамой или (позднее) мной... Цветение в саду начиналось ранней весной. У южной стороны дома под окнами спальни раньше всего начинал таять снег. И вот, однажды проснувшись, глянешь в солнечное окно и увидишь, как сквозь хрупкий снежок проклевываются стрелочки-листья подснежника. А на другой день и сам голубенький снежок улыбается наступающей весне... В самом конце апреля – начале мая обычно зацветала черемуха. У нас в саду она распускалась раньше, чем начинали продавать лесную. Наверное, потому, что она росла на солнце, а не в низине, как в лесу... После черемухи цвели вишни, сливы, яблони. Всегда казалось странным, что цветение вишен начиналось даже раньше, чем на них появлялись свежие, будто лаковые, листочки... На яблонях – крупные, с розовым нежным оком цветки. И аромат неопишуемой свежести, точно настоящий на солнце, и нагретой им земли наполняет сад и входит в комнаты через открытые окна и балконную дверь.

А потом пойдут ирисы. Эти цветы с их прямыми стеблями и саблевидными листьями, не ярко-зеленого, а серебристого, с оттенком в голубизну, цвета, с изящной формы прозрачным и неподвижным, как бы застывшим в своей причудливости, точно фарфоровым цветком всегда казались мне немножко неземными, искусственными... Из весенних цветов еще были в нашем саду фиалки, махровые, красные, нежно-душистые тюльпаны, пионы.

И сирень, сирень... Сказочно много сирени, традиционно розово-голубоватой и белой».

А костромской педагог А. Смирнов так описывал свои угодья: «Земля наша разделялась на две части: двор (северная часть) и огород (южная часть). На дворе в северо-западном углу находился старый домик, с тремя окнами на улицу. Против него в северо-восточном углу – новое строение, заключающее в себе погреб, сарай и конюшню с большой сенницей над ними. Между домом и этим строением шли ворота и забор. В юго-восточном углу двора был новый небольшой флигель, а в юго-западном – изба. Между ними был колодезь...

При входе в сад представлялась тотчас невдалеке от калитки огромная старая яблоня. За ней восточная часть огорода состояла из гряд, расположенных четырехугольниками, отделенными друг от друга дорожками, которые были обсажены кустами смородины и крыжовника. Западная половина огорода состояла из гряд, расположенных отчасти продольно, отчасти поперек, и отделенная от соседнего огорода рядом берез, черемухи и рябин. Со всех трех сторон огород наш окружали соседние огороды; за ними к юго-востоку расстилалось огромное поле, на котором в семик было большое гуляние, поле оканчивалось Черной речкой, впадав-

шей в Волгу, за речкой видно было кладбище, а за ним поднималась полукругом в гору обсаженная березами большая саратовская дорога».

В некоторых городах практиковался свой, фирменный садоводческий стиль. В частности, Владимир почему-то славился вишневыми садами. Еще Александр Герцен примечал: «Калуга производит тесто, Владимир – вишни, Тула – пистолеты и самовары, Тверь извозничает, Ярославль – человек торговый».

А Петр Клайдович, профессор московского университета, не мог сдерживать восхищение: «Между многими любопытными вещами в городе Владимире более всех обращают на себя внимание сады вишневые, как по своему множеству, так и потому, что жители владимирские от них немаловажный торг производят».

Владимир расположен на высоких горах при р. Клязьме, окружающей город с восточной стороны. Множество садов придает ему прелестный вид, а особенно весною, когда деревья цветут, и летом, когда плоды созревают. Сады сии увеличивают собою обширность города, который в длину простирается на 3 версты и 300 сажень, в ширину на одну с половиной версту, а в окружности имеет более 10 верст. Предместья городские похожи на красивые села, окруженные садами, и вся залыбедская сторона с горы кажется более лесом, нежели городской частью. Во Владимире считают около 400 садов больших и малых. Сады называются по именам своих хозяев, теперешних или прежних, так, например, большой Патриарший сад до сих пор удерживает свое название: он принадлежал в старину Патриарху Всероссийскому. Лучшими садами теперь почитаются Новиковский, Алферовский и Веверовский... Веверовский отделан в лучшем английском вкусе: между вишневыми аллеями находятся прекрасные цветники, которые немалое придают ему украшение... Когда вишни созреют, то наряжается ужасное множество сборщиков и сборщиц садов, и с первых чисел июля во всем городе начинается праздник Помоны. На всех улицах вы увидите толпы поющего народа с полными решетками вишен, собранными в садах и переносимыми до погребов, где бывает складка ягод».

Некоторые особенно рачительные обыватели скупали, по возможности, соседские сады и создавали настоящие шедевры. Вот, например, описание «садика» Андрея Титова, предпринимателя, жителя Ростова Великого: «Как входишь – сразу бордюр из махровых левкоев, душистый табак, который распускался вечером с необыкновенным ароматом. Направо были розы на длинных грядках, эти розы из Франции выписывались... После роз был сиреневый кружок, диаметром 5 метров, небольшой, а в середине его лавочки. Дальше беседка очень красивая, большая, а в ней терраса, буфет с посудой (мы здесь пили чай), а далее еще беседка, ажурная, из длинных полос дерева, и в ней еще три лавочки.

В самом центре сада стоял фонтан, а в середине его – скульптура, ангел (мальчик с крыльшками) с трубкой, из нее вода лилась, разбрызгиваясь.

Направо от нее яблони росли, сливы и другие фруктовые деревья. А пруд какой был! В нем рыбы плавали».

Такое предприятие могло дать фору и столичным увеселительным садам.

А уж праздники в частных садах – бесподобнейшее удовольствие. В одном из них, в Ростове-на-Дону состоялась свадьба физиолога Ивана Павлова и юной ростовчанки Серафимы Карчевской. Юная супруга вспоминала: «Что за чудный вечер был в день нашей свадьбы. Тихий, лунный, безоблачный! Садик, в который были открыты окна и двери, благоухал розами. Собрались только самые близкие наши друзья... В саду в беседке устроили танцы. Музыка изображал отец Киечки, ударяя ножом по бутылке, а все мы превесело танцевали. Никогда не забыть мне этого вечера. И Иван Петрович всегда вспоминал о нем с удовольствием».

Вроде бы ты и на улице – а все таки дома.

* * *

Но все выглядело по-другому, если в доме не было достатка. Путь в бедность часто начинался с малого – например, с принятия решения пустить к себе жильцов. Ярославец С. Дмит-

риев писал: «На имеющиеся у нас капиталы решено было приобрести две кушетки (кровати дороги!) – одну мне, другую квартиранту, – стульев, стол, посуды, самовар и тогда подыскать подходящую квартиру. «Пошла работа!»

Квартиру мать нашла быстро: на Нечете, в центре города, в мезонине. Дом этот и сейчас стоит, и проходя мимо него, я вспоминаю те годы, годы начала моей жизни, лучшие годы моей жизни.

На улицу выходила большая, в три окна, комната, во двор смотрело тоже три окна, но два в комнате, а одно в кухне; сняли дом за семь рублей в месяц со своими дровами и керосином.

Стулья и другую мелочь мать перетаскивала сама, а кушетки перетащить наняла зимогоров, всегда находящихся около мебельных магазинов в ожидании чего-нибудь снести и подзаработать.

Квартиру обставили, повесили иконы в углах, какие-то занавесочки на карнизах (окна были маленькие), но не ситцевые: мать, бывая часто у Разживиных и Огняновых, уже отвыкла от деревенских порядков.

На другой день мать приколотила на дверях, выходящих на улицу, записку: «Сдается комната со столом в мезонине». Вход с улицы был и в мезонин, и во второй этаж. Меня по целым дням дома не было, и мать сдавала комнату сама. Когда я пришел вечером со службы, мать сказала, что находится подходящий квартирант. Она просила его зайти завтра утром пораньше, чтобы я «поговорил с ним сам». А что я должен был говорить с ним сам, когда я в этом деле вполне ничего не понимал?

Но студент (квартирант) пришел около 8 часов утра – Сергей Павлович Нелидов (из Нижнего Новгорода), сын, не помню точно, директора или инспектора народных училищ Нижегородской губернии, приехал учиться в Ярославский юридический лицей... Студент Нелидов мне очень понравился, и мы его пустили в комнату, выходившую на улицу окнами. Условились за 20 рублей в месяц давать ему, кроме комнаты с нашими дровами и керосином, еще обед, ужин и два раза в день – утром и вечером – самовар. Чай и сахар его, стирка белья тоже его.

Я уже наглядился у Огняновых кое-какому обращению с «господами», по выражению матери, и учил и показывал ей, матери, как нужно подавать кушанья, резать к столу хлеб и т. п.

Нелидов оказался человеком симпатичным и простым. По вечерам он не брал самовара, а приходил к нам пить чай. Сидел подолгу с нами, а потом уводил меня к себе, рассказывал, что у них семья большая: четыре брата, все учащиеся. Младший, Александр, неудачник, не хочет серьезно учиться в Кологриве Костромской губернии в земледельческом училище им. Чижова».

Вроде бы Дмитриевым повезло – жилец оказался приличный. Но все равно было нарушено уединение, прайваси – одна из главных ценностей провинциальной жизни. Кучкование – ценность столичная, там это – здорово, а в провинции – смерть.

В Уфе снимал квартиру будущая театральная звезда, Федор Шаляпин. Сам он об этом писал: «Жил я у прачки, в маленькой и грязной подвальной комнатке, окно которой выходило прямо на тротуар. На моем горизонте мелькали ноги прохожих и разгуливали озабоченные куры. Кровать мне заменяли деревянные козлы, на которых был постлан старый жидкий матрац, набитый не то соломой, не то сеном. Белья постельного что-то не припомню, но одеяло, из пестрых лоскутков сшитое, точно было. В углу комнаты на стенке висело кривое зеркальце, все оно было засижено мухами».

Впрочем, положение юного баса скрашивало то, что в Федора Ивановича влюбилась дочка прачки, «очень красивая, хотя и рябая». Она подкармливала бедного певца «какими-то особыми котлетами, которые буквально плавали в масле».

Впрочем, сдача и съемка жилья – вещь временная, оставляющая надежду на другую судьбу и на лучшее будущее. Страшнее, когда люди так живут всю свою жизнь. Современник писал о Самаре: «Если теперь заглянуть в жилища, то убедимся, что большинство маленьких

квартир тесны, переполнены народом и содержатся очень грязно, на первом плане вонючая лохань, переполненная помоями, следующая комната – гостиная. В ней сборная мебель, косое зеркало, неизбежная вязаная салфетка на столе, и на ней всегда красуется изломанная грязная гребенка, которою все чешутся – и хозяева, и гости. Третья комната обыкновенно так называемый „мертвый угол“: это комнатка без окон, совершенно темная, глухая, заваленная хламом, в ней стоит деревянная кровать с пуховиками – это спальня».

Да, провинциальной идиллией здесь и не пахнет. Но ничего не поделаешь – огромная часть обитателей провинции жила именно так. Больше того, по мере наступления прогресса жизнь многих обывателей не улучшалась, как логично было бы предположить, а напротив, становилась хуже. И правда, одно дело – проживать почти что в девственном лесу, где все, что называется, стерильно, и совсем другое – сохранять здоровые условия существования среди «каменных джунглей», каковыми постепенно становились многие города, особенно промышленные. Взять, к примеру, Брянск. Городской фельдшер г-н Меримзон писал в 1878 году в тамошнюю управу: «При исполнении возложенных на меня обязанностей я бываю иногда поставлен в необходимость лечить тех больных, обстановка которых поистине ужасна. Сырая, тесная, нередко нетопленая квартира, неимение не только сколько-нибудь подходящей пищи, но и насущного хлеба; присмотра, столь необходимого условия при каком бы то ни было лечении, и того в большинстве случаев нет, так что приходится исполнять обязанности и фельдшера, и прислуги. Само собою разумеется, что при такой обстановке никакое лечение не может облегчить страданий бедняка. Если ко всему этому прибавить недостаток медикаментов, от которого, главным образом, страдают опять те же бедняки, не имеющие средств приобрести лекарства за своей счет, то это будет составлять понятие о трудностях лечения больных этого рода».

А вот запись окружного инженера 2 округа замосковских горных заводов К. Иордана в инспекторской книге Брянского завода об антигигиеническом состоянии жилищ рабочих: «Осмотрев 23 июня 1892 г. некоторые помещения для рабочих, устроенные при Брянском рельсопрокатном и механическом заводе, я нахожу, что они совершенно неудовлетворительны в гигиеническом и санитарном отношении. Помещения устроены по нескольким типам: для одного семейства, для двух и для артели рабочих. Все они отличаются друг от друга только размерами, условия же жизни всюду одинаковы и в громадном большинстве случаев не только не привлекательные, но и безусловно вредные. Скученность и теснота в помещениях настолько велики, что рабочие, чтобы вдыхать сколько-нибудь сносный воздух, прибегают к самопомощи, а именно, при всех казармах устраивают нечто вроде барачков из теса и горбылей, с просвечивающими стенами и кое-какой крышей, без окон...

Все здесь изложенное относится по преимуществу к жителям семейным, где по сознанию ли самих живущих, либо же по чувству самосохранения еще поддерживается кое – какая чистота и опрятность. Но в казармах для артелей рабочих тщетно было бы искать той и другой. Тут без всякого преувеличения можно лишь делать сравнения с помещениями для домашнего скота, до такой степени они своим неопрятным видом и грязью мало напоминают о жилье людей. Даже летом, когда окна и двери настежь открыты, воздух в них сперт и удушлив: по стенам, нарам, скамьям видны следы слизи и плесени, а полы едва заметны от налипшей на них грязи.»

Еще один крупный промышленный город – Ижевск: «О домашнем комфорте ижевский оружейник почти не имеет понятия. Некрашенный деревянный стол, два-три таких же стула и по стенкам лавки да еще угловой шкафчик для посуды составляют почти всю мебель... Кровать находится в редком доме, да ее и поставить было бы некуда... Спят обыкновенно на полатах или на печи, а если уж очень жарко, то на полу».

Словом, известный роман «Мать» Максима Горького написан был, по сути, на документальном материале.

* * *

Особняком же в отношении бытовой организации стояли маленькие города аграрного характера. Вроде бы уже деревня, но еще и не совсем город. Очень характерна в этом плане Суздаль – до революции он был известен не архитектурными шедеврами, а достижениями сельского хозяйства.

Да, город и впрямь имел характер очень даже необычный. Если из столиц (Владимира, Москвы и даже Петербурга) сюда все таки приезжали путешественники приобщиться к суздальским святыням, – то самих жителей эти святыни интересовали мало. Один из мемуаристов вспоминал: «Даже среди людей относительно образованных сведения о родном городе, его истории, отдельных лицах, ставших почему-либо известными, были очень скромными, а у подавляющего большинства и таких знаний не было. Например, у очень многих суздалян в так называемых „поминаньях“ были занесены на вечное поминовение имена митрополита Илариона, схимонахини Софии и других, а кто они были, когда жили, и какой след оставили в истории Суздаля, вряд ли кто знал достоверно».

Нонсенс, казалось бы, но ничего уж не поделаешь. Город и вправду был аграрным и преуспевал именно на этом поприще. «Под садами находится земли около 25 десятин, а под огородами – ок. 280 десятин. Только самые богатые жители города не имеют своих огородов или не обрабатывают их сами, а сдают в аренду другим. В садах разводится преимущественно яблонь (сорта: антоновка, анисовка, боровинка, зеленцовка и апорт), потом вишня (родительская), из ягодных – смородина, кружовник и малина. В огородах по количеству насаждений первое место занимают хрен и лук, затем – огурцы, капуста, свекла, картофель и др. Все получаемое с садов и огородов, весом до 620.000 пуд., кроме капусты и картофеля, за исключением необходимого для собственного потребления, вывозится на продажу в соседние города и уезды (большая часть в гор. Иваново-Вознесенск), а лук и хрен в больших количествах идут в Москву с С.-Петербургом».

Именно сельское хозяйство составляло главный интерес жителей Суздаля. «Хрен да лук не выпускай из рук» – лишь один из образцов суздальского аграрного фольклора. Да и названия суздальских «предприятий» до чрезвычайности красноречивы – например, «хрено-толченые заводы».

В начале сезона, в апреле оживлялась жизнь города. На Хлебную площадь сходились из окрестных сел поденщики – так называемые «копали». Они подряжались копать многочисленные суздальские огороды. Притом цена зависела от трудоемкости работ, которая определялась тем, что именно предполагалось посадить. Для тех культур, которые требовали более тщательной обработки нанимались «копали» значительно дороже.

Затем «копали» уходили, и появлялась другая рабочая сила. Многие хозяева ни разу не притрагивались к собственным посевам – наемные специалисты и сажали, и растили, и собирали урожай. Находилось дело даже для старушек-инвалидок – они обрезали лук.

А в феврале городские власти объявляли нечто вроде тендера – жители город боролись за право прибрать к своим рукам навоз, который за зиму скопился на городских улицах и площадях.

Суздалянам был присущ творческий подход к своим посадкам. Например, в конце июля туристов сильно изумляли флаги, с непонятной целью вывешенные на некоторых огородах. Некоторые были красными, иные белыми, а иной раз попадались и сшитые из трех полос – белой, синей и красной.

Это не имело никакого отношения к встрече представителей царской фамилии. Флаги вывешивались для детишек и обозначали, что горох созрел, и можно совершать набеги на его плантации. Жители справедливо рассуждали, что набеги эти будут все равно, так пусть хотя бы совершаются, когда гороху не так страшно помятие, как на начальных фазах созревания.

Дети же знали: до развески флагов их накажут за набег, а после – нет и, соответственно, делали выводы.

Необычным был способ охраны садов от налетов злокозненных птиц. Для этого использовались «грохотушки». Их устанавливали на высокие шесты, а механизмы «грохотушек» с помощью веревок соединялись с будкой сторожа. Сторож время от времени дергал концы этих веревок, и жуткий грохот охранной системы разгонял всех пернатых налетчиков.

Естественно, что при такой ярко выраженной аграрной специфике (если не сказать аграрном культе) Суздаль сделался родиной ряда сельскохозяйственных изобретений. Например, штаб-лекарь Дмитрий Моренко еще в 1825 году изобрел здесь особенный способ изготовления цикорного кофе. До того корни цикория сильно пережигали и измалывали в порошок (так называемый ростовский способ). Доктор Моренко доказал, что лучше сначала мелко-намелко порезать корни, а затем слегка поджарить – так полезнее. Этот кофе получил название Моренкова или же Суздальского.

Так они и жили, суздаляне. С одной стороны взглянешь – вроде и ни богу свечка, и ни черту кочерга. А с другой – ведь тоже были счастливы своим суздальским счастьем.

Он благороден был, как замок —
тот старый и могучий дом.
Жильцов необычайных самых
подозревал я в доме том.
Недаром высилась достойно
от башенки невдалеке
фигура Гипсового воина
с копьем в откинутой руке.

Непростое хозяйство провинциального города

«Обедали мы во Владимире. Это очень недурной городок, и если судить по той улице, через которую мы проезжали, то – не хуже Нижнего; но кондуктор говорит, что только одна улица порядочная и есть во всем Владимире».

Это – критик Николай Добролюбов, о городе Владимире. Да, провинциальный город – не Москва, тем более, не Петербург. Улиц там, конечно, много, но жизнь, как правило, вращается вокруг одной из них. На нее, как на шампур, нанизаны главные городские достопримечательности – кафедральный собор, соборная площадь, торговые ряды, городская гимназия, здание присутственных мест, пожарная и полицейская часть, городской бульвар-парк. Именно здесь, на главной улице и происходит вся общественная жизнь. Именно на ней – лучшие магазины, лучшие гостиницы и самые роскошные дома. Да и названия у этой улицы, всегда красивые, нарядные – Садовая, Дворянская, Московская, Миллионная. Или Спасская, Всехсвятская, Троицкая – это уже в честь кафедрального собора, главного храма города.

Кажется, что эта улица должна быть такая же нарядная, парадная, ухоженная, как ее название. А вот и нет.

«Бесконечные прямые улицы во всю ширину загустели грязью. Лошади с трудом тащили экипаж. Даже на Главном проспекте – ни проехать, ни пройти. Чуть получше было возле громады кафедрального собора в центре, вокруг которого стояли красивые каменные здания, пестрели вывесками магазины. Но как только свернули в переулки, так опять лошади зашлепали по грязи».

Это описание города Екатеринбурга, вовсе не последнего по статусу и по богатству города России.

Главную улицу пытались украшать, облагораживать. Ну, например, мостить. И что же? Результат плачевный. Николай Лесков писал в романе «Некуда» о городе Орле: «Спокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в Московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся, неровным плитам безобразнейшей мостовой».

А в Тамбове в середине девятнадцатого века вообще дерзнули укатать свою главную улицу в асфальт. Не всю, а для начала только тротуары. Но, как не трудно догадаться, ничего хорошего из этого не вышло. Вороватые и мало сведущие в тонкостях дорожных дел ремонтники, прежде чем положить асфальт, вытащили из земли булыжник. Асфальт плюхали прямо на грунт. Разумеется, спустя несколько месяцев, улица вновь нуждалась в «асфальтировании». А тамбовская газета сообщала в 1881 году: «Большая вполне оправдывает свое название: она длинна, достаточно широка и может похвастаться многочисленными приманками для пылкого юношества... если не принимать в счет благовидных тротуаров, идти по которым нужно осмотрительно, прибавлять к штиблетам калоши, чтобы последние не остались в грязи, а в морозное время необходимо упражняться по законам равновесия, дабы сохранить в целостности затылок».

Подстать главной улице была и Соборная площадь. Газета «Рязанская жизнь» сообщала в начале двадцатого века: «Соборная площадь – место, предназначенное для поломки обывательских ног. Не ремонтировалась и не подметалась со времен татарского нашествия».

Правда, ближе к новому, двадцатому столетию за основные улицы провинциальных городов взялись всерьез. Литератор Н. Вирта писал о Тамбове: «Большая улица, самая длинная и чистая, застроенная казенными домами, была средоточием властей гражданских, военных и духовных. Все учреждения помещались на этой улице, а во дворе, близ кафедрального собора, жил губернатор. На той же улице в реальном училище, в гимназии и в духовных заведениях приобщали к наукам детей благородных лиц».

Как ни странно, там даже асфальт в конце концов прижился. Газета «Тамбовские отклики» сообщала в 1914 году: «Вчера начались работы по нивелированию Большой улицы, по окончании которых она будет залита горячим асфальтом. В некоторых местах срыто будет до аршина земли. Центр улицы, как известно, будет замощен булыжником, основанием для которого будет песок. Боковые же части будут заливаться раскаленным асфальтом на прочном бетонном основании. По условию с подрядчиком Пикулиным все работы должны быть закончены к 1 июля».

Одно лишь слово «нивелирование» здесь вызывает уважение и даже трепет.

Владимир Танеев писал в «Воспитании Шумского» про город Владимир: «Через весь город шла Дворянская улица, широкая, прямая, мощеная, с домами, редко где опороченными вывеской. В центре была обыкновенная большая площадь. На ней два древних собора, присутственные места, дворянское собрание, губернаторский дом. Бульвар из тенистых лип окружал площадь, шел к берегу и кончался у обрыва. Недалеко, на Дворянской улице, стоял Гостинный двор, с арками. Малолюдный, без обширной торговли, без фабрик, без увеселений, он считался одним из самых ничтожных губернских городов. Но на самом деле он был естественным, необходимым и полным жизни центром всей Ополыщины. Жизнь кипела на базарной площади и около постоянных дворов».

Восхищался и П. Сумароков: «Поутру вступили мы в Кострому. Правильная улица довела нас до площади с пирамидой посередине, указали нам за нею гостиницу, и мы вкусно пообедали стерлядями. Строения благополучные, и на всех улицах хорошие мостовые, великая опрятность.

Площадь, о которой мы уже упомянули, окружена каменными лавками, каланча с фронтоном и колоннами легкой архитектуры занимает один ее бок, посреди стоит деревянный на время памятник с надписью «Площадь Сусанина». Площадь эта походит на распушенный веер, к ней прилегают 9 улиц, и при одной точке видишь все их притяжения. Мало таких приятных, веселых по наружности городов России. Кострома – как щеголеватая одетая игрушка».

«Путеводитель по Волге» 1903 года писал о Саратове: «Немецкая улица самая шикарная и элегантная, с красивейшими домами и магазинами... Немецкая улица служит местом гуляний достаточных классов населения».

Другой же источник раскрывал эту мысль: «Разнообразные магазины идут от ее начала и до конца. Тут сгруппировалось все: магазины белья, портные, фотографы, сапожники, чайные и колониальные магазины, ювелиры, магазины мод, перчаточные, парфюмерные; тут же рестораны, большая гостиница бр. Гудковых, «Зимний сад» М. Корнеева, редакции и типографии двух газет, и проч. и проч.

Здесь постоянное движение экипажей и праздного люда. Особенно оживлена Немецкая улица после 4-х часов пополудни, когда обычная публика умножается любителями прогулки и катания. Вечером окна магазинов сияют огнями и сверкают своими блестящими выставками на окнах – и в это время улица действительно красива».

Историк А. Гациский восхищался главной площадью Нижнего Новгорода: «Благовещенская площадь, по своему очертанию, сильно напоминает место, занимаемое Дворцовой, Адмиралтейской и Исакиевской площадями в Петербурге... роль Невы и набережной играет здесь кремлевская стена с бульваром, роль Главного штаба, соединения Невского с Гороховской, здания военного министерства и другие играют здесь духовная семинария, дома господ Волкова и Переплетчиковых, гимназия, почтовая контора, общественный дом, где помещается окружной суд, и, наконец, театр. В довершение сходства с площади идут радиусами три главных улицы: посередине, вместо Гороховой – Варварка, справа, вместо Вознесенского проспекта – Покровка, слева, вместо Невского – Тихоновская. Так как сравнивают адмиралтейскую часть с Римом, то, следовательно, с Благовещения и Нижний на Рим похож».

А улице Большой Садовой – главной улице Ростова-на-Дону – даже стихи посвящали:

Один из путешественников так писал о ней сто с лишнем лет тому назад: «Начало этой улицы очень непрезентабельно... но чем вы поднимаетесь выше, тем более ваше внимание привлекает красота и размеры домов, большинство которых только что с иголки, блещут новизною, нарядностью и особенным, чисто местным стилем – смесью мавританского с обыкновенным нашим «губернским».

Город провинциальный – но при том торговый и богатый – прихорашивался. За ним тянулся и ближайший «младший брат» – уездный Таганрог. Инженер В. Соболев писал в начале прошлого столетия: «Внешний вид (Таганрога – АМ.) производит на всякого приезжающего хорошее впечатление благодаря правильной распланировке довольно широких улиц и переулков, которые в большинстве вымощены крепким песчаником с бордюрными камнями... С обеих сторон мостовых устроены очень густые аллеи из деревьев: тополей, канадского и пирамидального, и из белой акации. Эти аллеи представляют главнейшее украшение города».

Прятно выглядела и главная улица Самары. Известный общественный деятель Петр Алабин описывал ее взлет: «Причины быстрого роста и украшения Дворянской улицы, лет 15 назад состоящей из деревянных домишек и пустырей, во-первых, то обстоятельство, что в 1869 году местное начальство исходатайствовало запрещение постройки на ней деревянных домов и, во-вторых, то что на этой улице сосредоточилась торговля из магазинов и лавок города с колониальными, красными и галантерейными товарами. Дворянская улица сделалась сосредоточением торговли более изысканными средствами потребления.

Ее тротуары лучше, чем на других улицах, и сама улица содержится чище других. Только Дворянская улица сделалась любимым местом гулябиза Самарского общества в зимний сезон, как Невский проспект в Петербурге».

Об этом «гулябизе» «Самарский спутник» сообщал: «Часов с трех дня, в зимние праздники, здесь тянутся вереницы экипажей, нередко в таком количестве, что трудно бывает перебраться с одной стороны улицы на другую; по тротуарам масса самой разнообразной публики, начиная с привычного фланера и кончая вышедшим освежиться и посмотреть на людей трудовым человеком. Сила привычки велика, и потому на Дворянской улице можно встретить значительное число гуляющих и в летние вечера, тем более, что улица примыкает к главному месту летних гуляний – Струковскому саду. Одним словом, Дворянская улица может называться выставкой общественной жизни Самары».

Павел же Бажов писал о главной улице уже упоминавшегося Екатеринбурга: «Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект – лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесенная довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекала внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями – это да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные: «Жорж Блок», «Барон де Суконтен», «Швартэ», а сверху какой-то неведомый «Нотариус».

Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посередине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов.

В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городской. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску: «Продажа металлов... графини Стенбокк-Фермор».

Внешность же провинциальных жителей, выбравшихся на прогулку на главную улицу, тоже была феноменом. В частности, «Ярославские губернские ведомости» сообщали о жителях своего города: «Употребляемая жителями одежда обыкновенная, как и в других городах.

Мужчины, почти все, одеваются летом в кафтаны, суконные и китайчатые, синие и других цветов, а зимой в шубы, полушубки и тулупы, крытые сукном, плисом, бумажною саржей и китайкой... подпоясываются более шелковыми, нежели каламенковыми кушаками; на голове носят летом поярковые и пуховые круглые шляпы, а зимой немецкие и русские шапки; на ногах – сапоги и валенки. В немецком платье ходят и бороды бреют немногие.

Женщины одеваются так же, более в русское платье. Обыкновенный наряд их в летнее время, по праздничным и воскресным дням, составляют юбки, называемые здесь полушубками, холодные епанечки (юбки и полушубки), обложенные по краям широким золотым и серебряным позументом, парчовые, шелковые, штофные, гарнитуровые, канаватные, тафтяные, ситцевые, выбойчатые и проч. ... также кофточки, шугаи и черные салопы. Этот же наряд служит и зимою; сверх того употребляются тогда теплые парчевые, бархатные, штофные и других материй епанечки с фраком и по краям собольими, куньими и прочими опушками, так же коротенькие, гарнитуровые, шелковые и китайчатые шубки на заячьем и беличьем меху, с рукавами, с высоким назади перехватом или лифом и множеством частых бортов и складок. На голове носят шелковые простые или шитые золотом и серебром платки, с такою же по краям бахромою. На шею надевают снизки из многих ниток жемчуга, иногда с разными камнями, а при них еще снизку жемчужную же широкую для креста, а на руки зарукавные, простые или с камнями. Рукава у рубашек батистовые или из тонкой кисеи, с кружевными манжетами, длиною только по локоть, но широкие и всегда накрахмаленные, чтобы были пушистые и не обминались. Обуваются в башмаки и полубашмаки».

Поверим автору в том, что одежда ярославцев была и вправду типовой, и воздержимся от описания гардероба жителей других российских городов.

* * *

Впрочем, столь радостно смотрелся только центр, только лишь главные улицы русской провинции. В общем же состояние провинциальных городов, увы, ни в какие ворота не лезло. Один из журналистов сообщал о состоянии тамбовских улиц: «При поездках в экипажах на самых бойких улицах седоку от толчков приходилось ежеминутно подпрыгивать в экипаже, рискуя откусить себе язык и подвергнуться другим неприятностям. Вследствие толчков на ухабах некоторым пассажирам доводится и совсем выскакивать из экипажей». Увы, Большая улица принадлежала именно к числу таких особо «бойких».

Публицист В. Я. Светлов писал в 1902 году о Таганроге: «Таганрог – очень неинтересный город для принужденных постоянно обитать в нем и, главным образом, неинтересный по климатическим условиям: жара в нем стоит неестественная, доходящая летом до 48 – 50 градусов, а холод зимою до 20 и больше... Таганрог производит на человека, попавшего в него в первый раз, странное и унылое впечатление выморочного города: улицы пустынные, как в Помпее, ставни у всех домов наглухо заперты...

С внешней стороны Таганрог довольно красив, главным образом, своей правильной планировкой, тенистыми бульварами, обсаженными белыми акациями, каштанами и платанами, опрятными каменными домиками в один редко в два этажа и кажущейся чистой, но именно только кажущейся. Не имея канализации, водопровода и стоков, город не может быть действительно чистым; в особенности отвратительно в нем содержание ассенизационного обоза, распространяющего по вечерам невероятное зловоние на улицах. Несчастные обыватели только что открыли ставни и окна, желая воспользоваться наступившей хотя бы относительной прохладой, как уже приходится закрывать окна, чтобы спастись от мчащегося с грохотом обоза».

В описании одной из улиц города Самары сообщалось: «По Саратовской улице вследствие сыпуче-песчаного грунта в летнее время нет никакой возможности ездить, особенно между Заводской и Москательной улицами, почему большая часть обывателей старается объезжать ее другими улицами... ибо в летнее время песок до того разрыхляется, что тяжелые пожарные снаряды уходят в него по ступицу».

Харьковский путешественник сетовал на грязь Ростова-на-Дону: «Для пыли при такой ширине улиц – широкий простор, а для мостовых – совершенная погибель, так как чем шире площадь замощения, тем труднее ее сохранить. Ширина улиц ведет к тому, что каждая улица замощена только по бокам... Пыль на середине ростовских улиц лежит в огромном количестве и последствием такой меры „благоразумной экономии“ является равномерное распределение этой ростовской лавы: – каждая улица засыпает прохожих пылью, так сказать, своего собственного приготовления... Улицы в Ростове поливаются, но поливных кранов там нет, а пользуются услугами знаменитой „пожарной бочки“, снабженной лейкой. Выходит очень комично. Необыкновенно пыльная, широчайшая улица поливается так, как узенькая аллея в хорошо расчищенном английском садике. Такой способ полива, понятно, не достигает своей прямой цели, а только составляет „статью“ в росписи городских расходов».

(Заметим в скобочках: можно подумать, что в Харькове было значительно лучше).

А Губернатор города Симбирска А. П. Гевлич жаловался в Петербург: «В городе Симбирске издавна существует обыкновение выпускать коров на улицы, как бы на пастбища, что от сего, кроме нечистоты и помешательства в езде, происходили разные несчастные случаи и что хотя к прекращению такого беспорядка, со стороны городской полиции, были принимаемы меры, но все распоряжения... остались недействительными, и коровы... особенно зимою и весной, собираются на улицах стадами, причиняют затруднения проезжающим и опасение проходящим, не говоря уже о нечистоте и безобразии, несовместимых с благоустройством губернского города».

Но в столице ему, разумеется, помочь не могли.

Даже находившийся совсем рядом с Москвой и, скажем так, раскрученный бренд Сергиев Посад и то страдал от грязи. Посадский староста писал в 1895 году: «Наши улицы, за незначительным исключением, остаются незамощенными, а если некоторые из них и замощены, то крайне неудовлетворительно... В сухое время они покрываются толстым слоем пыли, которая при езде по ним и при ветре поднимается целыми тучами и носится над всем Посадом. Во время дождливой погоды большинство таких улиц покрывается или прямо водою... или такую липкою и вязкою грязью, что по некоторым из них не только пройти, но и проехать невозможно. На этих улицах образовались лощины, рытвины и канавы, в которых тонут не только возы с кладью, но даже прогоняемый по ним скот. В случае пожара по таким улицам... проезд пожарного обоза буквально невозможен. Положение безвыходное».

Не поражали чистотой и Сочи, новая-явленный курорт. С. Доратовский, историк, писал в 1911 году: «Со стороны города все же мало делается для приезжих больных и здоровых людей. А ими только город и живет.

Улицы грязны в дожди и пыльны в засуху; канавы грязны, засорены; тротуаров нет – ходят около канав по тропинкам и после каждого дождя везде стоят лужи целыми часами; заборы в колючках.

Та красота, которой любуются с борта парохода или из автомобиля, проезжая по шоссе, утрачивается при остановке на более продолжительное время и резко выделяется даже мелочное внешнее неблагоустройство.

Отсутствие водопровода, канализации и т. п. крупных и дорогих сооружений не так резко ощущаются на первый раз, как сумма мелких, надоедливых недочетов благоустройства городской жизни».

Можно подумать, грязь была своего рода общепринятым стандартом русских провинциальных городов.

Апофеоз этой темы – калужская Венская улица. С чего, казалось бы, в губернском среднерусском городе называть улицу в честь недоступной большей части Калужан столицы Австрии? А дело было так.

В начале девятнадцатого века на окраине Калуге появилась новенькая улица. Новенькая-то новенькая, но настолько мерзкая, что горожане сразу дали ей название – Говенская. Каким-то чудом через некоторое время это нехорошее название проникло в документы, и было за улицей официально закреплено. Лишь спустя десятилетие какой-то умник в городской калужской думе все-таки смекнул, что так не гоже, и поставил на повестку дня вопрос с Говенской улицей. Поскольку калужане к этому моменту окончательно привыкли к колоритному названию, его решили кардинально не менять, а лишь урезать первый слог. И вышла – Венская, одна из самых грязных улиц города Калуги.

Разумеется, случались исключения приятные. В частности, в Уфе существовал своеобразный памятник роду Аксаковых – улица Фроловская. Собственно, памятником являлась не вся улица, а лишь деревья, высаженные посередине. Дело в том, что те деревья, превратившие простую улицу в уютнейший бульвар, были посажены под руководством Софьи Александровны Аксаковой-Шишковой, невестки знаменитого писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В честь этого посадки часто называли «Софьюшкинской аллеей».

Но это – именно что исключения.

И было еще исключение – городские набережные. Близость к воде придавало им свежесть, а практически полное отсутствие на набережных магазинов, лавочек, и прочих очагов цивилизации мешало набережным загрязниться так, как загрязнялись улицы. По набережным меньше ездили – больше ходили. «Набережная на Волге уж куда как хороша», – писал о ярославской набережной Михаил Островский.

Доходило до того, что в городах пытались обустроить набережные искусственным путем. Весьма красноречивая история случилась в Астрахани. Еще Петр Первый велел проложить по центру города канал – дабы его облагородить. Но строительство канала протекало очень медленно, а к началу девятнадцатого века вообще заглохло. Ту часть, которую удалось вырыть, использовали для сбрасывания мусора и слива нечистот, и канал приобрел прозвище «канава». Дело исправил астраханский рыбный промышленник Варваций, выделивший на сооружение канала 200 тысяч собственных рублей. Зато благодаря каналу тот промышленник вошел в историю и, более того, в литературу. Поэтесса Н. Мордовина посвятила ему трогательное стихотворение:

И в 1839 году «Астраханские губернские ведомости» наконец-то и с гордостью рапортовали: «Цель Великого Петра вполне исполнена. Низменные болотистые части города осушены этим Каналом, который сверх того доставляет жителям воду и облегчает доставку жизненных припасов в самую середину города. Канал имеет в длину более двух верст с половиною и до 20 сажен в ширину. С обеих сторон устроена деревянная набережная, обсаженная ветлами. В воспоминание благодетельного поступка Варвация Канал переименован из Астраханского в Варвациевский».

Правда, унижительное прозвище «канава» за каналом сохранилось. Один из гостей города, некто Н. Ермаков, писал о нем: «Сажень в ста от моей квартиры улицу пересекает Канава, через которую перекинут деревянный (Полицейский) мост, возле которого влево, над водою Канава, деревянная же постройка для крещенского Иордана. Канава обложена, с обеих сторон, деревянною набережною с широкими тротуарами, с мостками и съездами и обстроена по обеим сторонам довольно красивыми зданиями. Отчего на ней во многих пунктах открываются живописные виды».

«Канава эта, – заключал гость города, – один из прекраснейших памятников гражданской доблести».

Правда, слово «канал» тоже было в ходу. Один из авторов журнала под названием «Вестник промышленности» рекомендовал прибывшим в Астрахань: «Советую вам прямо ехать на Канал, по сторонам его живут почти все флотские офицеры. Эта улица – одна из самых аристократических».

Впрочем, далеко не всем нравился тот канал. В частности, поэт Тарас Шевченко так писал о нем: «Перед вечером вышел я, как говориться, и себя показать, и на людей посмотреть. Вышел я на набережную Канала. Здесь это английская набережная, в нравственном отношении, а в физическом – деревянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добиться времени его построения, узнал только, что он построен на кошт некого богатого грека Варвараца. Честь и слава покойному Эллину».

Даже фамилию благотворителя соврал, подлец.

Но мало было проложить канал – следовало еще поддерживать его приличное существование. С этим, увы, дело обстояло плохо. К началу прошлого столетия по Астрахани даже поползло стихотворение:

К счастью, нашелся новый меценат – рыбный предприниматель Лионозов. Он, правда, умер раньше, чем начались работы по усовершенствованию канала, но это лишь прибавило делу патетики и пафоса (в частности, в Голландии был изготовлен специальный землесос, который получил название «Память Лионозова»). Благодаря той «памяти» обогатилось множество весьма далеких от проекта обывателей. «Астраханский вестник» сообщал: «На работе землесоса на Кутуме кладоискатели лезут на трубу, из которой льется пульпа и в грунте разыскивают старинные монеты, которых на дне Кутума очень много».

Славный землесос и впрямь сначала снарядили на Кутум, а в скором времени работы вообще затихли. Сначала война, а затем революция – до Канавы ли тут?

* * *

Отдельная тема – кремли. огромная часть русских городов из них, собственно говоря, и вышла. То есть, поначалу ставилось именно каменное укрепление – кремль. Потом укрепление могло расширяться, а могло оставаться таким же, как раньше. Его могли сносить, на его месте строить новый, больше – а могли и не сносить. В любом случае именно кремль поначалу был синонимом слова город – горожане жили именно внутри кремлевских стен, защищая себя, таким образом, от злого и коварного врага.

В какой-то момент кремль становился тесноват, вокруг него образовывались так называемые посады. Эти фасады разрастались, а кремль занимал, соответственно, все меньшую часть городской территории. Он почитался как памятник. Им гордились, в нем устраивали экспозиции.

Вот, к примеру, что писал в 1895 году журнал «Русское обозрение» о нижегородской крепости: «Древние храмы... тесно насыпаны наверху, внутри кремлевской ограды, и высыпали и за стены и под стены, слезая к самому берегу, забираясь в глубокие ложки, разделяющие крутые холмы Нижнего Новгорода, вползая на самые лбища этих холмов, и венчая их везде, где только можно было уместиться церкви, своими весело сверкающими на утреннем солнце православными крестами».

Историка и писателя П. Мельникова-Печерского в первую очередь радовали сами крепостные стены: «Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд, ниже его за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже зубчатой каменной лентой смелыми уступами сбегает с высоты древние кремлевские стены и тянутся по низу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавние, когда и стены и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела».

А другой писатель, Петр Боборыкин вспоминал о своих детских впечатлениях: «И староцерковное и гражданское зодчество привлекало: одна из кремлевских церквей, с царской вышкой в виде узкого балкончика, соборная колокольня, «Строгоновская» церковь на Нижнебазарной улице, единственный дом конца XVII столетия на Почайне, где останавливался Петр

Великий, все башни и самые стены кремля, его великолепное положение на холмах, как ни у одной старой крепости в Европе. Мы все знали, что строил его итальянский зодчий по имени Марк Фрязин. И эта связь с Италией Возрождения, еще не осознаваемая нами, смутно чувствовалась. Понятно было бы и нам, что только тогдашний европеец, земляк Микеланджело, Браманте и других великих «фряжских» зодчих мог задумать и выполнить такое сооружение.

Башни были все к тому времени обезображены крышами, которыми отсекали старинные украшения. Нам тогда об этом никто не рассказывал. Хорошо и то, что учитель рисования водил тех, кто лучше рисует, снимать с натуры кремль...

Разве что Тарас Шевченко отзывался о кремле критически – он утверждал, что главная нижегородская достопримечательность напоминает «квадратную ступу с пятью короткими толкачами». Да еще и в первые десятилетия советской власти можно было встретить в массовых путеводителях такие строки: «На страже благополучия господствующих классов и на костях раздавленной мордвы и своих русских „христианских“ рабов в четырнадцатом веке вырастает на высоком волжском берегу каменный кремль с высокими зубчатыми стенами, грозными боевыми башнями и многочисленной артиллерией. И до сих пор между Советской площадью, Зеленским съездом и Кооперативной улицей стоит этот памятник алчного феодализма и царского самодержавия; свидетель жутких страниц кровавого прошлого».

Впрочем, и то и другое свидетельство было, пожалуй что, вызвано необходимостью. Тарас Григорьевич был верен образу ниспровергателя устоев, а с советской просветительской литературой все совсем уж просто – можно на парочку столетий ошибиться (все-таки строительство нижегородский кремля было окончено в начале шестнадцатого века, а никак уж не в четырнадцатом) – главное, призвать снести очередной «памятник алчного феодализма».

В кремле можно было, при желании, откопать всякого рода редкости. Забавен, в частности, визит историка и литератора Михаила Погодина в Вологду. Видного гостя из Москвы определили на постой в самом кремле. Он восхищался своей резиденцией, располагавшейся «в прекрасной отдельной комнате, только что отделанной и назначенной быть кабинетом преосвященного. Около двенадцати окон в три стороны. Из одних виден собор, из других поле и часть города».

Радовал Погодина и архиерейский обед (он, по словам историка, имел «характер новости»). А вот «древлехранилище» одновременно и порадовало и обескуражило.

Погодин вспоминал: «Забрался в одно из пустых отделений архиерейского дома с позволения преосвященного, который услышал о каких-то бумагах, там валяющихся. Эта кладовая есть нечто отличное в своем роде, заслуживающее особого описания, чтоб дать понятие о тех местах, где ныне надо искать рукописей. Представьте себе огромный дом в три больших этажа, из которых выломаны все полы и потолки, и осталась одна железная черная крыша. Какое-то ужасающее пространство! Вверху едва только достаете вы глазом несколько стропил, а по сторонам видите выдолбленные гнезда... В первой половине этого пространства стоят лари с мукой, крупой, овсом. На полу на длинных рогожах навален лук. В этой половине нет ничего страшного, но вдали вы видите темные горы, на горах нагроможденные, с какими-то пустотами между собою, и усовами, которые выдаются из их наружной поверхности.»

Дальнейший путь к заветным антикам потребовал от кабинетного ученого отваги, и не малой: " Взволнованное деревянное море! Где же хранятся вещи? «А вот здесь, пойдемте дальше,» – сказал старый монах. Приближаюсь со страхом и трепетом и чуть-чуть примечаю, что вся эта безобразная куча накрыта сверху, на самом верху, черными дощатыми плоскостями. «Надо подниматься наверх,» – сказал монах. Меня так и обдало страхом. Где же лестница? «Здесь». Мы пробрались кое-как в промежутках моря, натываясь беспрестанно головою, плечами, спиной на клыки деревянных чудовищ, зиявших из своих ушей. Лестница ступеней в тридцать вела на морскую поверхность. Но какая лестница? В которой ни одной ступеньки не было на месте, лестница, которой, верно, триста лет. Надо было держаться беспре-

станно за ее стенки и искать хоть таких мест, откуда упасть было б легче. На Везувий, Монблан и Лилиенштайн поднимался я гораздо смелее и спокойнее. Возшли. Черные плоскости оказались старыми иконами, на которых остались едва приметные следы древних изображений.

Между тем я все еще не видал никакой кладовой. «Куда же еще идти?» – спросил я даже с досадой монаха. «В тот угол». По тонким лестницам, сквозь которые видна была морская бездна и которые тряслись под нашими ногами, едва доставая, кажется, своими концами до перекладин, мы пошли к углу отгороженному или лучше сказать, не отгороженному, а засло-
ненному такими же черными плоскостями. Монах принялся отодвигать и отворачивать одну из них. Ей-Богу, было страшно!»

Впрочем, господин Погодин был вознагражден за свои доблести: «Что же я увидел там? Сотни фигур, изваянных из дерева, коих, впрочем, в полумраке я не смог разглядеть порядочно. Мне объяснили, что это деревянные изображения Спасителя, отобранные в разные времена у раскольников.. „Покойный преосвященный приказал мне спрятать их подальше“. Ну уж подлинно они спрятаны далеко, без замков и дверей... Под деревянными фигурами валялись лоскутки. Я начал их шарить. Вынул лист: харатейный из триоди; вынул другой: послесловие к книге, печатанной при Михаиле Федоровиче. Но пыль поднималась столбом».

По поводу сохранности кремлевских экспонатов был у Погодина весьма красноречивый диалог с монахом:

- Как вы втащили их сюда?
- Втащили кое-как.
- Как вы приходите сюда?
- Ходим как-нибудь.
- Да ведь это очень опасно?
- Опасно.
- А можно устроить все это полегче?
- Можно.
- Да для чего же вы не устроите?
- Да так! Ведь сюда не часто ходишь.

«Каков народец русский!» – заключил Михаил Петрович после этой содержательной беседы.

«Полегче» посещение хранилища было устроено лишь в 1896 году, когда под него отвели надвратную церковь рядом с Софийским собором.

Но, наряду с интересом к российским кремлям, возникла другая тенденция – сноса старинных полуразрушенных стен. Ведь уже в то время ощущался дефицит земли, а тут – бессмысленные развалюхи в самом-самом центре города. В частности, снесли тверской, серпуховский, Можайский, вяземский, калужский, ярославский и владимирский кремли, а также стены дмитровского и рязанского кремля. Чуть было ни снесли смоленский – за него заступился сам царь Александр Второй. Заявил: «Смоленская городская стена, представляющая собою один из древнейших памятников Отечественной истории, назначена к сломке. Было бы желательно более внимательное охранение древних памятников, имеющих, подобно Смоленской стене, особое историческое значение».

И кремль принялись реставрировать.

* * *

Одна из важных частей коммунального устройства города – снабжение его водой. Вплоть до второй половины девятнадцатого века воду черпали из рек – абы какую. Другое дело, что в то время экология была гораздо лучше, и подобная вода, по большей части, опасности не представляла. Если и случались происшествия, то больше все таки курьезного характера. В частности, в 1861 году вода в реке Клязьме неожиданно окрасилась в желтый цвет. Жители города Владимира сразу же запаниковали. Но химический анализ показал: вредные примеси

в воде отсутствуют, пить ее можно. Просто благодаря каким-то непонятным факторам в воде в несколько раз повысилось содержание железа, что и вызвало ее сомнительный окрас.

Все обошлось для владимирцев благополучно, а трактирщики так вовсе получили выгоду – для получения привычного цвета чая теперь требовалось значительно меньше заварки.

Спустя несколько лет история вдруг повторилась. Но во Владимире тогда уже существовал водопровод, и губернатор просто-напросто велел снабдить его особыми «цедилками» – фильтрами, выражаясь современным языком.

Кстати, владимирский водопровод – один из первых в российской провинции. И его возведение не обошлось без занятной истории. В 1864 году немецкий инженер Карл Дилль предложил для города Владимира проект водопровода. В качестве основания для резервуара (емкостью 8 тысяч ведер) он предложил использовать знаменитые Золотые ворота – памятник архитектуры двенадцатого века.

Владимирцы, тогда еще не научившиеся ценить собственную старину, обрадовались. А городской голова так и вовсе обмолвился: «Золотые ворота как будто нарочно строились для того, чтобы поместить в них резервуар для снабжения города водой». Во «Владимирских губернских ведомостях» появилась на сей счет заметка: «Помещение резервуара избрано, подобно как на Сухаревой башне в Москве, на Золотых воротах, которых верхний этаж будет служить центральным бассейном и от него уже будут строиться фонтаны... Этот дельный проект, уменьшающий значительно издержки на возведение новой башни... дает возможность употребить ныне бесполезное здание на необходимое общественное дело».

Дело, казалось, было на мази. Но тут произошло несчастье: «На большой дороге у Золотых ворот, обрушившейся на 5-аршинном пространстве глубины землею сдавило в канаве, где клали водопроводные трубы, двоих чернорабочих и машиниста, из которых один (временно-обязанный крестьянин Гаврила Иванов 24-х лет) через час помер».

Дело потребовало долгого расследования, до получения результатов все работы приостановили. И во время этой остановки вдруг опомнились: а для чего портить ворота, если рядом – высоченный Козлов вал. И в 1868 году на том валу установили водонапорную башню. За счет естественной высоты вала, она была сравнительно невелика, зато с возложенными на нее обязанностями справлялась полностью.

Кстати, автором проекта башни был все тот же Карл Карлович Дилль.

Приблизительно тогда же было решено строить водопровод в Ростове-на-Дону. Там тоже решили воспользоваться природным ресурсом – а именно, так называемым «Богатым колодезем» или «Богатым источником», вода из которого была буквально ключом. Воспользовались. Накопали рядышком еще колодцев. Но, увы, источник оказался не настолько сильным, как предполагали. В день удавалось вытягивать из земных недр всего-навсего двести ведер воды.

Впрочем, через год сломался сам водопровод. Его восстановили лишь спустя десятилетие, и в новой городской водоснабжающей системе «Богатому источнику» была отведена роль более чем скромная. Однако и она со временем сделалась непосильной – вода из источника стала вдруг изобиловать вредными и неприятными примесями. Причины оказались малосимпатичными – на расстоянии пятидесяти метров от колодезя прорвало канализационную трубу, и в результате в водопровод начала поступать так называемая клоачная жидкость.

Кроме того, обнаружился «вредный обычай ростовских ассенизаторов опоражнять ночью бочки в смотровые колодцы». «Богатый источник» пришлось перекрыть.

В 1864 году была построена одна из красивейших водонапорных башен – муромская. Ее, а также всю водопроводную систему, выстроил на собственные деньги городской голова и купец Алексей Ермаков. В результате еще при закладке башни в ее фундамент заложили дощечку с надписью: «В память сего полезного учреждения отныне и веки веков да будет башня сия именоваться башнею господина Ермакова».

А в 1867 году газета «Владимирские губернские ведомости» (Муром относился к Владимирской губернии, как и сегодня относится к Владимирской области) подводили своего рода итоги: «30 августа, в день тезоименитства Государя Императора и Государя Наследника Цесаревича в городе Мурмее праздновался с особенной торжественностью. В этот день предположительно было отпраздновать трехлетнюю годовщину муромского водопровода. В течение этих трех лет Муром украсился многими великолепными фонтанами. При открытии водопровода в 1864 г. их было только 6, теперь их 17. Роскошное устройство их служит большим украшением города. Польза несомненна, вода во всех частях города, устроены фонтаны даже за городом на ярмарке и на Бяхеревой горе, куда в недавнем времени выселилось несколько домов из оврагов».

Городские власти во все времена старались использовать высотные сооружения на все 150 процентов. Сейчас их украшают многочислененные гроздьи антенны. Во времена же, о которых мы рассказываем, никаких антенн в помине не было, и на водонапорные башни сажали дозорного – чтобы пожары высматривал. Так было, например, с калужской башней. А некто Герман Зотов вспоминал о башне подмосковного города Богородска: «Одной из достопримечательностей... являлась водонапорная башня, которая снабжала весь город питьевой водой. На каждом перекрестке находились водяные колонки, ими пользовались жители прилегающих улиц. Для меня отец заказал жестянщику два маленьких ведра и я помогал ему носить воду. Дома воду держали в деревянных кадушках.

Насосная станция, которая подавала воду на водонапорную башню, располагалась на берегу Клязьмы. Работала она круглосуточно. Когда емкость в башне была наполнена полностью, излишек воды по трубе сбрасывался в Клязьму. Около этого слива находился плот, с которого женщины полоскали белье, а мы ловили рыбу и видели мощную струю сбрасываемой воды.

Эта башня, помимо снабжения города водой, служила и пожарным постом. Наш класс третьего или четвертого года обучения водили на экскурсию на эту башню. Со смотровой площадки открывалась красивейшая панорама города и его далеких окрестностей, так что дежурному пожарнику было легко определить место пожара».

Случались и курьезные сооружения. В частности, жители Иваново-Вознесенска гордились восхитительным колодцем, воздвигнутым здесь в конце девятнадцатого века. Он был выполнен в виде деревянного сруба, покрытого двускатной крышей и увенчанного деревянной головой барана (тот колодец служил для того, чтобы поить животных, правда чаще не баранов, а лошадей). В результате это место так стало и называться – «Барашек». А в скором времени одной из близлежащих улиц даже присвоили официальное название – улица Барашек. Так же, «Барашком», называли находившийся здесь раньше рынок.

А в 1892 году СМИ города Тамбова сообщали: «Городская управа доложила городской думе, что избранная ею комиссия по устранению неисправностей по городскому водопроводу, между прочим, находит необходимым для разъездов техника по надзору за водопроводом, дать ему лошадь и человека... По этому вопросу дума разрешила городской управе израсходовать на покупку лошади до 150 рублей, нанять человека для ухода за лошастью, приняв содержание его и лошади на счет водопроводной сметы».

Водопровод был вещь затратная, и далеко не все расходы можно было сразу же предусмотреть и предпринять.

* * *

Рука об руку с проблемой водоснабжения шла другая, так сказать, противоположная проблема – вывоз нечистот. Этот вопрос – одновременно коммунальный и экологический неоднократно стоял на повестке дня городских дум по всей России. По большому-то счету решение всегда было одно – наладить вывоз отходов жизнедеятельности из многочисленных выгребных ям. Знаменитый в девятнадцатом столетии доктор А. Малышев писал о городе Воронеже:

«Горячки и лихорадки будут существовать в Воронеже до тех пор, пока воронежцы не позаботятся о чистоте своих жилищ, об иссушении болот и уничтожении мусорных куч и бугров с водой». Но не получалось. То жара вдруг ускорит процесс разложения, то ассенизаторы напьются и начнут расшвыривать свой малособлазнительный товар направо и налево, то банальным образом на что-нибудь не хватит денег. И, хотя уже в 1870 годы в русских городах стали появляться первые канализационные трубы, они считались редкостью, позволить содержать такое чудо могли только очень богатые люди. Бедным же оставалось лишь платить за вывоз содержимого выгребных ям. Кто не платил – тех штрафовали. Но процесс штрафования воздуха, что называется, не озонировал.

Занятнее всего этот вопрос решался в городе Калуге. Там жил незаурядный человек – изобретатель и предприниматель Бялобжецкий. Он добился монополии на вывоз содержимого выгребных ям, брал за свои услуги сущие гроши, а нечистоты сваливал на своем хуторе «Билибинка». Там все это хозяйство перебраживало, упаковывалось в мешки и вторично продавалось калужанам – уже как удобрение под романтическим названием «пудрет».

Но таких энтузиастов, разумеется, на всю Россию не хватало. И ситуация была такая, что могла обрадовать, увы, одних только фельетонистов. К примеру, автора заметки в газете «Тульская молва» за 1908 год: «Наибольшую славу... Тула создала себе как лучший в России лечебный курорт... Наименьший процент смертности падает на город Тулу.

Объясняется это тем, что редкие микроорганизмы могут жить в исключительно антисанитарной обстановке дворов и улиц. Случайно попадая в Тулу, болезнетворные микробы или разлетаются в паническом ужасе во все стороны, поспешно затыкая носы, или (это относится к наиболее выносливым) впадают в жалкое существование и погибают, наконец, мучительной смертью. Так, например, доказано, что холерный вибрион, занесенный в Тулу, немедленно сам заболевает азиатской холерой и через минуту-две умирает в страшных судорогах.

Оттого-то холерные эпидемии, свирепствующие в других городах, не раз обходили Тулу за сто верст, предпочитая сделать крюк, чем рисковать здоровьем и жизнью».

Правда, ситуацию в то время облегчал довольно развитый вторичный рынок всякой дряни. По улицам русских городов расхаживали старьевщики и истошным голосом орали:

– Чугуны, тряпье собираю!

Сегодня такое «тряпье», безусловно, выбрасывается. Тогда же обменивалось – либо а детские свистульки, либо на резиновые мячики, либо на рыболовные крючки, либо на что-нибудь еще такое же полезное в хозяйстве.

Вообще, если сейчас мы чаще говорим о том, что человек губит природу, то тогда стояла ровно противоположная проблема. Природа вытворяла с человеком что хотела, а человек был слабым и беспомощным. Одни лишь наводнения чего стоили! Вот, к примеру, описание такого бедствия в Кронштадте, оставленное офицером Мышлаевским: «Часов в 10 утра мой хозяин (имеется в виду, естественно, домохозяин – .), старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается... Между тем вода стала входить к нам во двор... Вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась все более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши хотел идти в канцелярию своего экипажа, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить... Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но ее силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить ее, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигала до крыш... люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи. АМ

Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.

По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на нее и сел верхом».

Кстати, наводнения обычно приходились на весну, когда подобные купания в ледяной воде могли стоить здоровья, даже жизни.

А во Владимире в 1880 году вдруг совершенно некстати наступила не одна, а две зимы. «Владимирские губернские ведомости так писали об этом: «В одни сутки... сформировалась здесь вторая зима, именно около тех чисел, в которые большей частью бывали оттепели. Первая зима, с хорошим санным путем, установившаяся было с 16 октября, держалась только 2 недели; наступившие в начале ноября оттепели с сильными дождями совершенно ее уничтожили, и после того были такие теплые дни, что напоминали весеннее время.

Быстрая перемена погоды не осталась без последствий: от сильных дождей вода в Клязьме поднялась и поломала лед, движением которого разорвало наплавной мост и снесло его на четверть версты, где мост был остановлен и собран для восстановления езды через реку. Отвести мост назад было невозможно, потому что обыкновенное его место было занято надвинувшимся сверху реки льдом, который от наступивших морозов снова закрепило. Таким образом, чтобы переехать реку мостом, нужно было делать не весьма удобные объезды по обоим берегам. Но еще хорошо, что успели собрать мост, иначе переезд и вовсе был бы невозможен, так как до 21 числа санного пути не существовало. Разрывы моста от осенних паводков, случавшиеся и прежде, могут повториться и на будущее время, до тех пор, пока не будет устроен через Клязьму постоянный мост».

Такие игрища природы были далеко не редкими, и хлопот доставляли значительно больше, чем в наши дни (сейчас от этого, как минимум, мосты не рвет). Но горожане все больше задумывались об экологии в современном смысле слова. И к началу двадцатого века в провинциальных русских городах сделался популярным Праздник древонасаждения. Вот, в частности, как он проходил в Ростове-на-Дону.

Идея возникла в 1909 году. Создалась, как водится, особая комиссия (на этот раз «по древонасаждению»), и секретарь той комиссии послал в городскую управу соответствующую бумагу. В бумаге, среди прочих обстоятельств, излагались цели праздника, которые были весьма напоминали идеологию субботников: «Насаждение садов, парков, рощ и т. д., в которых принимают участие учащиеся, является культурной мерой; оно приучает подрастающее поколение любить растения, холить их, беречь и в то же время трудиться сообща».

Управа в том не углядела никакой якобинской заразы, дала свое добро и весной следующего года состоялся первый капиталистический субботник. Кстати, средства на его организацию предоставили, можно сказать, сами детишки – в городском театре дали в пользу праздника древонасаждения благотворительную оперу «Грибной переполох». Сбор от нее составил 908 рублей 50 копеек.

Одновременно с этим проходила агитационная работа. Детям в школах и гимназиях подробно объясняли для чего нужны деревья и почему именно они, учащиеся должны эти деревья насаждать.

И наконец, 7 апреля праздник состоялся. Сбор был назначен на раннее утро, на 8 часов. На Таганрогском проспекте прекратилось движение транспорта – он был занят колоннами юных озеленителей. Над колоннами красовались плакаты с названиями гимназий, а также иностранные лозунги: «В Ростове-на-Дону душно и пыльно, ветры, мало кислорода, эпидемии, высокий процент смертности. В борьбе с этим бичом нашего города следует сажать деревья, бульвары, скверы, сады и парки». Попадались среди них и лаконичные воззвания. К примеру, такое: «Сажайте деревья! Любите растения!» Возглавлял процессию градоначальник собственной персоной.

В 9 часов коляска с градоначальником тронулась, а за ним – и все шествие, растянутое на несколько кварталов. Зрелище было красивым – за его внешний вид отвечал композитор Михаил Фабианович Гнесин. «Мой проект оформления праздника был полностью воплощен в жизнь,» – вспоминал он впоследствии.

Вскоре колонны пришли к месту будущего парка (на севере города, в то время там была простая степь), но до работы было еще далеко. Первым делом, естественно, отслужили молебен. Потом прослушали торжественную речь градоначальника. Исполнили «Боже, царя храни». И лишь после этого приступили к посадке деревьев.

Больше всего поражает сейчас продолжительность этой работы – всего полчаса. За это время было «освоено» десять тысяч саженцев. После чего – совместный завтрак. Походная постная каша, приготовленная здесь же казаками, бутерброды, лимонад и чай.

* * *

Одна из серьезнейших частей городского хозяйства – освещение улиц. В домах каждый выкручивается как знает. Но об улицах и площадях, особенно о главных, должны заботиться именно городские власти, больше некому. А не позаботишься – глядишь какой-нибудь несчастный обыватель спяну руки-ноги поломают, или лихой человек у кого кошелек украдет. Греха потом не оберешься. С одной стороны – по начальству затаaskaют, с другой стороны – пьеса со своими фельетонами, да и вообще – маленький город, все друг друга знают, стыдно, чай, перед своими-то.

Вот и старались – кто во что горазд.

История городского освещения в России, в общем, мало отличается от мировой. Сначала масляные фонари. Затем – керосиновые, спирто-скипидарные. Новая эпоха – газ. Действительно – эпоха. «Камско-Волжская газета» сообщала: Освещение газом – есть одно из последних изобретений XIX века, так богатого изобретениями, упростившими и облегчавшими жизнь человека».

Городской фонарщик становился все более знаковой, таинственной и культовой фигурой. Казалось бы, чего тут делать-то – подняться на фонарь, зажечь горелку, спуститься вниз, перебежать к следующему фонарю. И так несколько десятков раз. Однако про фонарщиков слагли песни, а даже посвящали им задачки в гимназических учебниках по арифметике: «Фонарщик зажигает фонари на городской улице, перебегая с одной панели на другую. Длина улицы одна верста триста сажен, ширина двадцать сажен, расстояние между соседними фонарями – сорок сажен. Скорость фонарщика двадцать сажен в минуту. Всего на улице шестьдесят четыре фонаря. Спрашивается за сколько времени он выполнит свою работу?»

То есть, полтора часа работы – и на боковую.

Проще всего дело обстоит в регионах, богатых всевозможными полезными ископаемыми. Доходило до курьеза. Александр Дюма, будучи в Астрахани, отмечал странную природу городского освещения: «Русские власти одно время надумали прорыть артезианский колодец, но на глубине ста тридцати метров зонд вместо воды, которая, по ожиданиям, должна была забить фонтаном, наткнулся на углекислый газ. Это обстоятельство использовали для уличного освещения: с наступлением вечера газ зажигали, и он горел до утра следующего дня, распространяя яркий свет. Фонтан стал фонарем».

Это восьмое чудо света находилось в самом конце Советской улицы, на Полицейской площади (в нынешнем Морском саду) и, в общем-то, без преувеличения считалось местной достопримечательностью. Даже серьезнейшие «Астраханские губернские ведомости» уделяли внимание этому несостоявшемуся водоему: «Сообщали, что во вторник вечером на Полицейской площади был зажжен в особо устроенном фонаре выходящий из артезианского колодца газ, который со временем может осветить улицы Астрахани».

И нисколько не задумывались над абсурдностью той фразы – «выходящий из артезианского колодца газ». Как будто бы артезианские колодцы для того и предназначены.

А ближе к концу века появилось электричество. Которое отнюдь не каждый встретил на ура. В частности, «Казанский телеграф» серьезно выражал свои сомнения: «Интересно бы знать мнение врачей о влиянии вольтовой дуги на глаз человека, так как казанскому обывателю приходится ежедневно во время электрического освещения города любоваться прекрасным зрелищем: спускается фонарь, снимается с него шар и начинается регулировка механизма, которая затягивается на полчаса, в течение которого проходящей публике предоставляется право безвозмездно портить себе глаза. Надо устранить регулировку фонарей на улице, так как не каждый из обывателей знает пагубное действие электрического света от вольтовой дуги на глаза и мозг человека, поэтому горе тому, кто увлекшись прекрасным зрелищем, остановится полюбоваться им!»

Со временем, однако, опасения пропали.

Изобретатели, особенно в провинции, продолжали искать новые, более эффективные способы освещения улиц. В частности, в десятых годах прошлого столетия в горде Суздале торжественно открыли керосино-калильный фонарь. Очевидец писал: «На обочине главной магистрали... поставили высокий столб с кронштейном наверху и прикрепленным к нему особой формы фонарем с белой горелкой внутри. На столбе на высоте человеческого роста устроен деревянный ящик с запором, а внутри ящика – рукоятка, от которой идет вверх по столбу к фонарю витая проволока. К моменту первой пробы фонаря собралась целая толпа любопытных, ожидающих прибытия „специалиста“ из пожарников. Но вот он прибыл и начинает приготовления. Публика подалась ближе. Специалист открывает ящик и, действуя рукояткой, спускает фонарь вниз и открывает дверцу его. Вот внутри фонаря вспыхивает слабый огонек, рабочий начинает действовать воздушным способом, и вдруг все вздрогнули от неожиданного шума и яркого ослепительного белого света фонаря, Народ в восхищении, крики удовольствия, аплодисменты».

Но этот вид освещения в Суздале не прижился – очень уж очевидными были преимущества электроэнергии.

Электрическое освещение входило в жизнь провинции не разом. В частности в 1896 году в Ростове-на-Дону на главной улице возникли первые «фонари Яблочкова». «С сего дня Большая Садовая будет освещаться сорока электрическими фонарями по тысяче свечей!» – ликovali газеты. Но до совершенства было еще далеко, и в путеводителе 1909 года с прискорбием значилось: «Освещается город Ростов-на-Дону различно. Большая Садовая улица и часть Пушкинской улицы между Таганрогским проспектом и Николаевским переулком, дорога к вокзалу и Вокзальная площадь освещаются электрическими фонарями; другие более значительные улицы освещаются газом, а окраины пользуются керосином и доныне. В настоящее время идет разработка вопроса относительно электрического освещения и других улиц города, но, конечно, не известно, когда задача эта будет осуществлена».

Что говорить – ведь даже с керосином ситуация была довольно далека от идеальной. В частности, на рубеже веков решили вдруг улучшить быт бедняцкого района – Богатынские. Ее решили осветить. Повесили на каждом перекрестке по два фонаря, а после почему-то пожалели и освещение уполовинили, оставив лишь по одному светильнику. Иронизировали журналисты: «Если к этому прибавить еще то обстоятельство, что фонарищик, желая получить выгоду на керосине, никогда не пускает в фонарях полного пламени, и они мигают как свечка, то можно будет сазать, нисколько не преувеличивая, что Богатый Источник освещается исключительно луною».

Прогресс, однако, шел вперед и никого не спрашивался. Еще далеко не во всех городах появились электрические фонари – а полным ходом уже проходила телефонизация. В частности, в городе Воронеже первый звонок произошел еще в 1884 году. Купец Петров звонил домой своей супруге и произнес буквально следующие слова:

– Алло! Это Прасковья Никаноровна? Слушай, мне тут новую мануфактуру привезли. Запрягай Орлика и вместе с Глашенькой ко мне...

Дальнейшие слова заглушил шум аплодисментов – госпожа Петрова пригласила на осмотр телефона уйму родственников и знакомцев.

Годом позже губернатор города Калуги К. Н. Жуков выдал уникальнейший патент: «Дано сие свидетельство кандидату прав С.-Петербургского университета Павлу Михайловичу Голубицкому в том, что с разрешения Министерства внутренних дел, им в августе месяце с. г. устроено в г. Калуге телефонное сообщение системы его, г-на Голубицкого, между губернаторским домом, губернским правлением, квартирою полицмейстера, городским полицейским управлением, губернским тюремным замком и 2-й полицейской частью, с постановкой в канцелярии губернатора центрального соединенного бюро. Аппараты его, Голубицкого, ясно и отчетливо передают слова, и вообще же телефонное сообщение, действуя вполне удовлетворительно, на расстоянии около 6 верст, приносит существенную пользу в деле быстрого сообщения между означенными правительственными учреждениями, облегчая тем их канцелярскую переписку, что удостоверяет подписью и приложением казенной печати.

Причитающийся гербовый сбор уплачен».

Правда, телефон П. Голубицкого довольно скоро вытеснили европейские компании.

* * *

К городскому коммунальному хозяйству можно с некоторой степенью условности отнести и возведение бюстов, монументов, триумфальных арок и прочих украшений города. Оно и к экологии имеет отношение – но, правда, к визуальной. Без подобных малых (или же, наоборот, гигантских) скульптурных форм облик российской провинции был бы совершенно иным.

Чаще всего подобным образом увековечивали, разумеется, царей. Случалось, сразу многих. Самым известным провинциальным скульптурным памятником был (и сейчас остается) монумент «Тысячелетие России» или же «Тысячелетие крещения России» в Великом Новгороде работы скульптора Микешина.

Решени об установке памятника принималось на высоком уровне. 27 марта 1857 года Министр внутренних дел С. Ланской подал записку «О сооружении в Новгороде памятника первому Русскому Государю Рюрику». Прицел делался на грядущий юбилей – в 1862 году России собиралась шумно праздновать тысячелетие царствующего рода Рюриковичей. Поэтому записка пришлась кстати. Впрочем, ее сразу доработали – решили Рюриком не ограничиваться, а совместить в монументе подобо́льше достойных особ.

Сам император, сидя в Петербурге, наложил на это дело положительную резолюцию. «Совершенно с этим согласен,» – написал царь.

Сразу же возник коммерческий проект. Автором его был некий Кренке, командир Гвардейского саперного батальона. Он писал: «Если от всех сословий государства: дворян служащих и неслужащих, духовенства, купечества, мещан и крестьян, обоих полов и всех возрастов собрать по 1 копейке с души, а желающие могут вносить и более, по собственному произволу, то при народонаселении России свыше 60 миллионов составит капитал свыше 600.000 рублей».

Собрано, однако, было всего-навсего семьдесят две с половиной тысячи. Не каждый россиянин пожелал расстаться с заработанной тяжким трудом копеейкой.

В конкурсе победил художник Михаил Микешин – фигура, широко известная в узких кругах. Он обучал царских дочек рисованию и вообще был персонажем светским. Николай Лесков вывел его под образом художника Истомина: «У него бывали любовницы во всех общественных слоях, начиная с академических натурщиц до... ну, да до самых неприступных Диан и грандесс, покровительствующих искусствам. Последнее обстоятельство имело на художественную натуру Истомина свое неотразимое влияние. Красивое, часто дышавшее истинным

вдохновением и страстью, лицо Истомина стало дерзким, вызывающим и надменным; назло своим врагам и завистникам он начал выставлять на вид и напоказ все выгоды своего положения – квартиру свою он обратил в самую роскошную студию, одевался богато, жил весело, о женщинах говорил нехотя с гримасами, пренебрежительно и всегда цинично».

Проект вышел достаточно странным. Огромный колокол, плавно переходящий кверху в царскую «державу». Вокруг колокола – статуи своего рода *vip*-персон, Рюрик, с которого, собственно, все и началось, Владимир Святой, Дмитрий Донской, Иван Третий, Михаил Федорович и Петр Первый. А ниже – барельеф с изображениями еще 109 персонажей российской истории.

Клодт, Бруни и многие другие не менее известные творцы лично явились к Михаилу Осиповичу, осмотрели его «наработки» и признали все это весьма далеким от искусства.

А государь отнял у Константина Тона (в то время он работал храм Христа Спасителя) лучшую в России мастерскую и отдал ее любимцу. В результате господин Микешин нажил еще одного врага, на этот раз из архитекторов.

Разумеется, проект неоднократно изменялся. В частности, Микешин не поместил в разделе «государственных людей» Николая Первого (к тому времени скончавшегося).

– А батюшка? – поинтересовался новый император, Александр Николаевич.

Пришлось добавить.

Новгородцы же пообещали, что если на памятнике появится изображение Ивана Грозного, то в следующую же ночь это изображение окажется на дне реки. Грозного, на всякий случай, отменили.

В мае 1861 года памятник был торжественно заложен. Простой новгородский учитель об этом писал: «Закладка происходила при многочисленном, как говорится, стечении народа; но к сожалению присутствовали при этой торжественной церемонии немногие избранные власти, а прочий православный люд, *plebs* любовался изящным забором с домиками, воздвигнутыми на время постройки монумента».

А в сентябре 1862 года памятник открыли. В присутствии самого царского семейства, специально ради этого приплывшего в Великий Новгород на двух роскошных параходах с далекими от православия названиями – «Кокетка» и «Красотка».

Сразу же выпустили книгу, посвященную новому монументу. Книга называлась «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике 1000-летия крещения России», содержала в адрес памятника отзывы отнюдь не лестные, хотя и деликатные: «Из 53 представленных проектов и эскизов памятника, избран проект художника Микешина, как наиболее соответствующий мысли правительства, по инициативе которого сооружался памятник. Не зная недостатков прочих проектов, мы не осуждаем рисунок г. Микешина: может быть, в наше, скудное талантами время, его проект был лучше всех, представленных на состязание».

* * *

Среди отдельных памятников императорам лидировал Петр Великий. Один из самых первых был торжественно открыт на Плацпарадной площади Кронштадта в 1841 году. Для малообразованных на постаменте указали, кто тут вылеплен – «Петру Первому – основателю Кронштадта».

Автором памятника был французский скульптор Н. Жако. А отливал скульптуру наш родной российский немец Клодт.

Памятник подействовал на плац-парад убийственно. Мало того, что после установки статуи, площадь начали называть Петровской, так спустя примерно два десятилетия ее и вовсе упразднили и вместо нее разбили регулярный парк.

Впрочем, несмотря на перемены столь партикулярного толка, памятник все же вызывал ассоциации военного характера. Мемуаристы Засосов и Пызин писали: «В Петровском парке стоит памятник Петру I. Петр изображен с обнаженной шпагой, наступившим одной

рукой на повергнутое шведское знамя. На гранитном постаменте памятника золотыми буквами начертаны слова царя Петра: „Место сие хранить до последнего живота“. Матросская служба на флоте до 1905 года длилась семь лет, после – пять, в общем, длительная по сравнению с другими родами войск. Старые матросы в шутку говорили молодым: „Служить тебе еще долго, пока царь Петр другой ножкой „вступит““, имея в виду этот памятник».

Памятник Петру в Воронеже открыт был несколько позднее, но идея о его сооружении возникла еще в тридцатые годы. Впервые с этой мыслью выступил воронежский гражданский губернатор Дмитрий Бегичев. Он обратился с соответствующим отношением к российскому министру Внутренних дел. Тот дал добро, воронежцы довольно быстро разработали проект, который в 1834 году был утвержден собственноручно Николаем Первым, императором. О масштабах замысла можно узнать из описания будущего мемориала в «Санкт-Петербургских ведомостях» (сам факт такого описания уже свидетельствует о масштабности затеи): «Сооружение сего памятника соединяет в себе три весьма важные и священные предмета, устройство церкви во имя Святителя Митрофана Воронежского Чудотворца, которая будет еще первая во всей России со времен открытия мощей сего Угодника Божия, учреждение инвалидного дома для успокоения воинов, подвизавшихся на поприще славы и чести и, наконец, сей памятник увековечит изъявление благодарности потомства к незабвенному благодетелю и отцу отечества, положившему на твердом и незыблемом основании славу и величие России, по чему со всею достоверностью можно надеяться, значительные пожертвования откроют в скором времени возможностью свершить сие дело».

Пожертвования и впрямь были значительны, однако же они куда-то подевались (в хищении был обвинен предводитель дворянства Н. Шишкин), и на время об идее установки памятника позабыли. Вновь к ней вернулись только в 1857 году. На этот раз замыслы были поскромнее – просто фигура императора, который опирается на якорь. И этот памятник был установлен в 1860 году. Это был первый в городе скульптурный памятник. Открытие его сопровождалось салютом, парадною проходкою Азовского полка и, естественно, обедом на 400 персон в зале Дворянского собрания.

Памятник сделался одним из символов Воронежа. У него встречались горожане, а приезжие могли спокойно отдохнуть от непривычной суеты на лавочке у монумента. Александр Эртель описывал подобные сладостные минуты: «У статуи Петра было безлюдно. Николай сел на скамеечку – у него подкашивались ноги от усталости – и бесцельно устремил глаза в пространство. Внизу развевался по холмам город: пестрели крыши, толпились дома, выступали церкви; дальше обозначалась широко проторенною дорогой извилистая река, чернели слободы, еще дальше, еще дальше – белая, однообразная, настоящая степная равнина уходила без конца. Мало-помалу на Николая повеяло от этой равнины привычным ему впечатлением простора и тишины. Он начинал успокаиваться, приходить в себя, собирать рассеянные мысли».

Памятник стал также местом и официальным, представительским. Именно здесь, когда в 1914 году воронежцы готовились к визиту царя Николая Второго, установили гигантскую триумфальную арку. Один только только двуглавый орел, размещавшийся посередине, весил двадцать пудов.

Естественно, как и любой изветсный монумент, он обрастал какими-то историями и легендами. Например, Владимир Гиляровский, будучи в Воронеже, увидел статую Петра, взглянул по направлению его протянутой руки и сочинил такой экспромт:

Да, там действительно располагалась тюрьма.

Самый, пожалуй что, известный провинциальный памятник Петру был установлен в 1903 году в горде Таганроге. Автор его – скульптор М. М. Антокольский. Антон Павлович Чехов, будучи в Италии, с ним познакомился и там же уговорил мэтра выполнить заказ для неизвестного Марку Матвеевичу Таганрога. Работал он над статуей там же, в Италии. При

этом постоянно посылал в Россию письма приблизительно такого плана: «Пожалуйста, узнайте хорошенько, носил ли Петр плащ? Пришлите мне те эстампы, которые сделаны с петровских монет».

Результат превзошел ожидания. Сам Чехов писал: «Это памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветский конкурс, и о лучшем даже мечтать нельзя»

Столичный (разумеется, по отношению к Таганрогу) город Ростов-на-Дону чуть было не скопировал ту статую. В 1909 году свежесозданное Ростовское-на-Дону общество истории, древностей и природ решил установить Петру Первому. Первоначально активисты предполагали ограничиться скромной колонной, увенчаной бюстом государя императора. Затем же планы разраслись следующего проекта: «Император должен быть представлен стоящим на гранитном пьедестале. Одежда обыкновенная адмиральская, голова покрыта треугольной шляпой, ботфорты и вообще детали одежды Императора желательно видеть согласованными с этими частями на известной статуе Государя работы скульптора М. М. Антокольского. Под ногами Императора карта России, которая, будучи развернутой, свисает несколько с вершины пьедестала, открывая начертанную на ней часть юговосточной России, с показанием дельты реки Дона, Азовского моря и других соседних областей. Левой рукой Император поддерживает эфес шпаги, а правой властно указывает вперед, что символически должно означать стремление Государя овладеть берегами Азовского моря и прилегающим к нему районом. Выражение лица Императора властное, энергичное, изображающее непреклонную волю... Пьедестал должен быть поставлен на возвышении, имеющем три или четыре ступени. У подножия пьедестала и по углам возвышения желательно разместить следующее: мортиры времен Императора Петра Великого, якорь, якорную цепь и т. п. военно-морскую арматуру. Не исключается возможность помещения здесь лодки...»

Увы, дальше прожектов дело не продвинулось. Зато дело, затеянное ростовчанами, вдруг удалось архангелогородцам. Губернатор города г-н Сосновский обратился к городскому голове г-ну Лейцингеру с довольно смелым предложением: «В настоящее время представляется редкий случай приобрести для г. Архангельска за ничтожную сравнительно цену статую Императора Петра I-го по модели знаменитого (ныне покойного) Антокольского... Две статуи отливаются сейчас в его парижской мастерской... Узнав случайно об этом, я обратился в Париж к племяннику покойного скульптора с запросом, не согласится ли он заодно принять заказ на третий экземпляр бронзовой статуи Петра Великого для г. Архангельска. На днях мною получен ответ, что означенная статуя могла бы быть изготовлена и доставлена в С.-Петербург в трехмесячный срок за 50 000 рублей... Затратив около 7 000 рублей, можно было бы соорудить... великолепный памятник Петру Великому, который явился бы украшением нашего бедного художественными сооружениями города».

И в 1914 году точную копию таганрогского памятника открыли в Архангельске.

Пик установки царских памятников пришелся на начало девятнадцатого века – страна готовилась к великолепному празднеству трехсотлетия царствующего дома Романовых. Особая нагрузка приходилась, разумеется, на Кострому – ведь именно в этом городе, в Ипатьевском монастыре многочисленные депутации упрашивали сесть на трон первого царя этого рода – Михаила Федоровича. И уже в 1903 году городской голова отдал распоряжение – установить к этому случаю приличный памятник. Однако император (без него подобные дела, ясное дело, не решались) дал свое добро лишь в 1909 году. Обстоятельные костромичи, всячески старавшиеся избежать ненужной спешки, были поставлены перед ее необходимостью, можно сказать, самим героем монумента.

Пришлось к 1913 году приурочить не открытие, а всего-навсего закладку монумента. Что, впрочем, не умалило торжественный градус события. Памятный набор, нарочно выполненный после этого события, докладывал: «В тот самый момент, когда Государь Император, Окруженный Августейшею Семьею и Особами Императорской Фамилии, стал на пьедестал

сооружаемого русским народом в ознаменование трехсотлетнего подвига дома Романовых памятника, неожиданно, как бы по мановению незримой десницы, над площадью пронесся порыв ветра – громадный стяг с изображением государственного герба заколыхался над головами Их Величеств, и казалось, будто громадный Императорский орел, паря в воздухе, приосенил победными крылами немеркнущей славы верховного Вождя Русского народа, и Его Августейшую Семью и всех представителей славного рода Романовых».

К церемонии были заблаговременно исполнены необходимые аксессуары по доступным, в общем, ценам: «серебряный молоток и лопатка, выписанные из Петербурга, стоимостью в 180 руб., 40 мраморных кирпичиков с именною гравировкой для Их Императорских Величеств, лиц Императорской Фамилии, Его Высокопреосвященства Архиепископа Костромского и Галичского и Костромского губернатора – 600 руб., мраморная плита для покрытия кирпичиков – стоимостью 25 руб., металлическая доска с соответствующим выгравированным текстом – 50 рублей». И так далее. А места на зрительских трибунах предоставлялись по цене от 6 и до 10 рублей.

Увы, через год началась мировая война, и до революции успели подготовить только постамент.

Зато вполне царским был другой костромской памятник – патриоту Ивану Сусанину. В действительности, он лишь так назывался, а представлял из себя высоченную колонну, увенчанную бюстом Михаила Федоровича. Сам же патриот, погибший, как известно, именно за этого царя, изображен был в виде маленького мужичка, коленопреклонившегося перед бюстом. Автором этого произведения был известный ваятель В. И. Демут-Малиновский.

Уже упоминавшиеся критики-искусствоведы бр. Лукомские выразили недовольство: «Композиция его... относится к тому периоду творчества Демут-Малиновского, когда он находился уже под влиянием национальных тенденций и в творчестве своем не лишен был даже ложного пафоса. Этим пафосом дышит и фигура коленопреклоненного Сусанина, поставленного на чрезмерно широкий и массивный, по отношению к тонкой и элегантной тосканской колонне, пьедестал. На колонне сверху бюст царя, Михаила Федоровича в шапке Мономаха, изображенного отроком. На пьедестале надписи и барельефы, представляющие убийство Сусанина поляками. Исполнение барельефа несколько грубоватое и не лишено ложных тенденций в выработке костюмов и лиц.

Вокруг самого памятника сохранилась прекрасная решетка, украшенная арматурами из доспехов и распластанными Николаевскими орлами. По углам, что особенно редко, во всей сохранности, стоят четыре фонаря, современных памятнику. К сожалению, решетка сквера недавно и, кстати сказать, совершенно ненужно здесь устроенного, – очень плоха; сюда было бы уместнее перенести решетку, погибающую на Верхне-Набережной улице».

Но, как уже упоминалось, главными заказчиками царских памятников были, собственно, цари. Их в памятнике все устраивало. И, когда в 1913 году в город приехал на закладку так и не построенного монумента царь с семьей, памятник был одним из центров проведения торжественных мероприятий: «Около Сусанинского сквера были поставлены воспитанницы городских детских приютов, а вдоль Романовского сквера – воспитанницы женских гимназий и других женских школ... Все свободное пространство улиц, за учащимися и старшинами, а также равно и тротуары, Сусанинская площадь, другие свободные места, особенно галерея торговых рядов были заняты толпою народа».

«Царская» аура ложилась и на памятники, посвященные столетию победы над Наполеоном. Эта волна пронеслась годом раньше, и на тот раз основным центром был Смоленск. Один памятник тогда же существовал – часовня, выстроенная в 1841 году. Но патриотические чувства требовали выплеска, и к юбилею в городе соорудили целый памятный бульвар с бюстами военачальников, символическим оружием, нарядными мостиками и прочей соответствующей атрибутикой – благо соседство древней крепости располагала к пафосу.

Главным же памятником был так называемый «памятник с Орлами», выполненный по проекту инженер-подполковника Н. Шуцмана. Памятник был аллегорией. Он представлял из себя скалу (то есть, Россию), по которой карабкается воин в древних галльских доспехах (наполеоновский воин-захватчик). На скале гнездо с двумя орлами (русская монархическая государственность), и эти орлы отбивают воина от гнезда.

Кстати, по неофициальной версии, это был памятник примирения и памятник прощения. Якобы незадолго до торжеств в Смоленск приехал французский представитель господин Матон и попросил разрешения установить здесь памятник погибшим воинам, только французским. В чем Матону было, разумеется, отказано. Ему, однако, намекнули, что учтут означенные благородные порывы. И якобы благодаря видиту представителя француз был представлен именно в роли вполне благородного галла, а не как-нибудь более гадостно.

Типичен и симптоматичен был памятник Александру Второму в Саратове. Поставить его было делом чести. Саратовцы вдруг спохватились – как же так, в Самаре стоит монумент «царю-освободителю», в Астрахани – тоже стоит, а мы что, хуже что ли? И в январе 1896 года городская дума приняла решение – соответствующий памятник поставить, и при этом «на одной из лучших площадей».

Собрали деньги, объявили конкурс. Победили два проекта – один под девизом «Царь освободил, а мужик не забыл», а другой – «Не в силе Бог, а в правде». Однако городскому голове понравились другие разработки – «Правда» и «Заря». Одна, как после выяснилось, скульптора Волнухина, другая – скульптора Чижова. Их и взяли за основу.

Затем долго рыли котлован, искали подрядчиков, что подешевле, и вдруг спохватились – уже 1907 год, скоро пятидесятилетие освобождения крестьян. Устроили у котлована нечто наподобие торжественной закладки (при том епископ Гермоген сказал: «Пусть этот памятник напоминает нам святую невинную кровь царя-мученика»). И в 1911 году памятник все-таки открыли.

Собственно статуя государя ничем не была примечательна. Интерес вызывали фигуры по краям постамента. Они символизировали основные достижения царя. К примеру, статуя «Освобождение крестьян» изображала некоего крестьянина с лукошком, осеняющего себя православным крестом.

– Глядите, на что крестится крестьянин, – говорили саратовцы. – На немецкую кирху! Нельзя что ли было его развернуть к православному храму – ведь рядом стоит.

Композиции «Освобождение славян», «Народное образование» и «Гласный суд» приняты были более спокойно.

А в Ижевске некоторое время возвышалась точная уменьшенная копия известного санкт-петербургского Александрийского столпа. Но это был не просто столб – копия служила памятником Михаилу Павловичу, брату Александра Первого.

* * *

Как ни странно, следующими после царей по значимости шли не памятники литераторам и композиторам, а многочисленные триумфальные арки, кордегардии и прочие полуфункциональные сооружения. Еще бы – ведь на них часто присутствовала государственная символика, а с этим в России всегда было строго.

Вот, в частности, как описывал Московские ворота города Калуги тамошний краевед Малинин: «Своим общим видом они напоминают известную арку Тита, отличаясь большей легкостью компоновки. Ворота представляют арку между толстыми пилонами, с обеих боков которых стоит по паре высоких дорических колонн. Верх накрыт грузным антаблементом. С обеих сторон над проездом висит по иконе с теплящейся лампадой – Спасителя и Казанской Б. М. Эти иконы снимались во время невзгод и были приносимы в церковь. Они украшены серебряными венцами, и граждане ежедневно жертвуют масло. Со стороны Ямской улицы въезд в ворота устроен с каменными разводами, а по краям, сбоку ворот, устроены две

жилых постройки, в одной из коих помещается водопроводная будка. За этими пристройками, со стороны Московской улицы, стоит по одномуobelisku. На этой же стороне поместилась часовня, которая сильно нарушает целостность вида ворот. Эти триумфальные ворота сооружены в 1775 г., иждивением Калужского купечества, по случаю приезда императрицы Екатерины II. Здесь 15 декабря упомянутого года императрица была торжественно встречена властями, духовенством и всеми гражданами города. Часовня же сооружена на городские средства в память 25-летия царствования императора Александра II».

«Жертвовать масло» – это был своеобразный ритуал. Церковь принимала от своих пожертвователей не только деньги, но и, так сказать, натурпродукт – ткани, подсвечники, кирпичи для ограды. И – том числе – лампадное масло. Нередко батюшка или староста начинал строжить прихожанина за масло – дескать что ж ты на своей душе бессмертной экономишь, масло вот дешевое принес. В следующий раз тащи дороже.

Как правило такие требования выдавали с головой самих церковников – они употребляли лампадное масло в пищу, а потому и требовали высочайшей очистки. А лампадам было, по большому счету, все равно.

Аналогичные строения были во многих городах России. В частности, в 1786 году в Орле специально для встречи, опять таки, Екатерины Второй, возвели, опять таки, Московские ворота. Но матушка императрица посетила город лишь на следующий год, и подъехала с противоположенной стороны. Увидела обильную иллюминацию, поморщилась – дескать, зачем все это. Встречающие были оконфужены.

Правда, впоследствии Московские ворота все-таки использовались по прямому назначению – для парадных встреч высоких визитеров. Особенно после прокладки сквозь город железной дороги. Вот, например, как приветствовали в 1903 году великого князя Михаила Романова: «Город Орел для встречи дорогого гостя широко распахнул вековые двери своих исторических московских ворот, утопавших в массе зелени и флагов всевозможной величины, начертав крупными сине-красными буквами на стороне въезда в город с вокзала радужное русское приветствие: „Добро пожаловать!“»

А в городе Воронеже произошло и вовсе трагикомичное событие. В какой-то момент на въезде в город с пирамид, собственно, этот въезд обозначавших, начала осыпаться лепнина. Состарились также и шпили, увенчанные двуглавыми орлами. Губернатор потребовал, чтобы городская дума из своего кошелька оплатила ремонт – дескать, нечего город позорить. Гласные же думы возразили – дескать, пирамиды устанавливал не город, а государственные власти, соответственно, на их совести и содержание собственного имущества. На этом губернатор счел полемику законченной и издал распоряжение: закрыть въезд в город для подвоза с продуктами. Торговля просела, начались первые признаки товарного дефицита. Дума – что делать? – пошла на попятный. Но с фигой в кормане. После ремонта пирамид вдруг обнаружилось, что по новому проекту ни лепнины, ни орлы, ни шпили им не полагаются.

Даже арочный мост через Березуйский овраг в городе Калуге почитался если не как идеологическая, то уж как историческая и архитектурная достопамятность. Мост, впрочем, того стоил – он представлял из себя древнеримский акведук с пятнадцатью арками в два этажа. Это чудо было выстроено в 1780 году скромным губернским архитектором Никитиным.

Даже сам овраг, впрочем, считался достопримечательностью. Один из современников строительства писал: «В городской части есть глубокий буерак, из известкового камня состоящий, по которому течет небольшой ручей, называемый Березуйка, в коей вода хотя берется не издалека, по большей части из его же сторон скопляется, однако, по причине отменной прозрачности и холодности от прочих буерачных вод отменно уважается. Сверх того у ней на устье сделан небольшой водоем, к которому вода из находящегося в яру родника проведена деревянными желобами, она по вышеописанным своим качествам от жителей едва целительно не почитается. И хотя по химическим опытам ничего она в себе не содержит, чтоб в каком-

нибудь целении делало ее употребительной, а содержит, так как и другие воды по здешним буеракам из известковых берегов протекающие, только тонкую известь, однако от обывателей пред всеми прочими носит почетное имя „Здоровец“».

Просто было и с героями, давно усопшие, страсти по которым улеглись, и потому подвоха от подобных изваяний никто не ожидал. В частности, когда в 1832 году в Архангельске открыли памятник Михайле Ломоносову работы скульптора Мартоса, все были только за. Про его пьянство и буйство характера было уже позабыто, а других грехов за ним, похоже, и при жизни не водилось.

Сам автор писал о фигуре: «Для составления моего монумента подала мысль, почитаемая лучшим творением Ломоносова ода одиннадцатая: «Вечернее размышление о божием величестве, при случае великого северного сияния»... Положение фигуры выражает изумление, которым поражен он, взирая на великое северное сияние. В восторге духа своего поэт желает воспеть величие божие и принимает лиру, подносимую гением поэзии. Вот минута, изображенная для статуи Ломоносова, минута вдохновения, произведшая бессмертные стихи:

А об отктытии «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Санкт-Петербургские ведомости сообщали: «Собравшиеся организованно прошествовали к памятнику от кафедрального собора. Там в присутствии большого числа горожан, представителей всех сословий, произносились речи, учащиеся читали свои стихи, играл оркестр Архангельского порта, были исполнены положенная на музыку ода М. В. Ломоносова «Хвала всевышнему владыке» и специально сочиненный кант. Вечером пьедестал памятника и ступеньки под оным были иллюминированы».

Первоначально памятник поставили на Ломоносовском лугу, (название, впрочем, возникло одновременно с открытием статуи). Но довольно быстро стало ясно: поставили не там, где следовало. «Архангельские губернские ведомости сообщали, что памятник «расположен весьма неудобно, на низкой, болотистой площади, в стороне от главной линии городского сообщения. Для проходящих и проезжающих по Троицкому проспекту памятник теряется вдаль, и подойти к нему ближе нельзя ни зимою, ни в большую часть лета. Зимою площадь занесена снегом, в начале и конце короткого лета она непроходима, как болото».

Правда, несколько ошиблись с местом. Но довольно быстро власти города признали, что памятник «расположен весьма неудобно, на низкой, болотистой площади, в стороне от главной линии городского сообщения. Для проходящих и проезжающих по Троицкому проспекту памятник теряется вдаль, и подойти к нему ближе нельзя ни зимою, ни в большую часть лета. Зимою площадь занесена снегом, в начале и конце короткого лета она непроходима, как болото».

К тому моменту площадь получила новое, солидное название – Ломоносовский луг. Но это не смутило отцов города, и памятник перенесли.

Нормально прошла подготовка к открытию в 1847 году в Казани памятника поэту и царедворцу Державину – эта фигура также не вызывала опасения у властей. Правда, не обошлось без курьезов. Когда пароход с камнем для постаментов причалил, высокопоставленные умы из университета принялись кумекать – как бы эту дуру неподъемную с судна на берег переправить и доставить к месту назначения, да ничего при этом не порушить (дуру, разумеется, в первую очередь), да что б никто не пострадал. А приказчик при судне тем временем свесился с борта и обратился к праздной публике с воззванием:

– Народ православный! Вот приехал Держава, и перевезти его надо, а как это сделать, если ты не поможешь? Народ православный! Помогите перевезти Державу!»

«Православный народ» быстренько соорудил громаднейшие санки (дело было летом, но колеса, разумеется, не выдержали бы) и на санках доставили эту «Державу» туда, куда нужно.

А вскоре памятник тожественно открыли. На месте, лично выбранном царем. То есть, перед театром. Но почему-то анатомическим. И лишь спустя 23 года памятник перенесли к более подходящему театру – оперному.

А вот с деятелями культуры было несколько сложнее. Неоднозначные они какие-то. То ли герои положительные, то ли отрицательные. Чуть ли не в каждого в кармане фига. В любой момент может достать ее, пусть даже и покойник. Инициаторы на всякий случай, осторожничали.

Установили, в частности, в 1845 году в Симбирске памятник Карамзину – в месте самом подходящем, перед городской гимназией. Автор – скульптор С. Гальберг. Подобно костромскому памятнику И. Сусанину, сам герой здесь занимал место второстепенное – довольствовался барельефчиком на постаменте. Венчала же тот самый постамент богиня Клио. Вроде бы, ничего страшного. И что же получилось?

Гальберовский ученик Н. Рамазанов писал об этом: «Некоторые из опытных художников осуждали Гальберга, зачем он поставил на пьедестал Клио, а не самого Карамзина. Впрочем, это предпочтение Клио, надо полагать, было сделано по какому-нибудь постороннему настоянию; доказательством тому служат два прекрасных глиняных эскиза статуй Карамзина, сделанных рукою Гальберга и составляющих теперь собственность пишущего эти строки».

А памятник и впрямь обескураживал. Поэт Н. Языков писал о нем Гоголю: «Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину уже привезен на место. Народ смотрит на статую Клио и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный вовсе не понимает, что это богиня истории! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого человека воздвигают вековую бессмыслицу».

В результате памятник получил прозвище «чугунной бабы».

Впрочем, существовало иное название. Об этом писал актер В. Андреев-Бурлак: «Я поднял голову. На лестнице, приставленной к фонарю стоял солдат. Он чистил стекла в фонаре...

– Не знаешь ли, милый! Зачем она тут поставлена?

– Нешто вы не здешний?

– Нет, проезжий.

– Для чего? Известно для чего. Для пожарной команды.

– Как для пожарной команды?!

– Как? Так и для пожарной. Карамзиной прозывается.

– Карамзина?

– Карамзина. Чтоб, значит, круг ее скакать. Губернатор тоже бывает. Многие одобряют».

О том, какую роль играла и гимназия, и памятник в создании простых симбирцев писал актер В. Андреев-Бурлак: «На лучшей площади города Приволжска, как пленница, за решеткой, охраняемая четырьмя фонарями стоит, на гранитном пьедестале, фигура богини Клио. Каким образом попала она на этот, до сих пор еще дикий берег Волги? Она, гречанка, в своей легкой тунике, в эту зимнюю сторону? Полунагая в этот строго-навственный город? Клио! Оглянись! Где ты? Чем окружена? Где ты нашла портики, колоннады, ниши с обнаженными статуями? Есть ли тут хоть что-нибудь греческое? Ионические, дорические ордера чужды этому городу. Здесь у нас есть свой, целомудренно-казарменный стиль. Посмотри – слева казармы, с надписью: «Дом градского общества»; прямо не дом, а какая-то стена с окнами; справа... Вот так срезался!.. Справа слышится греческая речь!.. Что ж это такое? Уж в Приволжске ли я?.. Это галлюцинация! В русском городе греческое учреждение! – Ну, конечно, галлюцинация... Нет! Речь льется с новой силой...

– Что это за учреждение? – спрашиваю я какого-то господина.

– Это болезненный нарост на нашей жизни, – высокопарно и вместе с тем грустно промолвил он и скрылся.

– Ничего не понимаю. Дом умалишенных что ли? Подхожу ближе. – Батюшки – гимназия... Караул!.. Вот тебе и греческое учреждение! – Ну, прости, Клио! Теперь я буду только удивляться твоему патриотизму. Чтоб услышать родные звуки, ты более 20 лет занимаешь этот пьедестал и, в своей южной одежде, с классическим терпением, переносишь наш, не совсем приятный для классицизма, климат. Теперь я не возмущаюсь даже твоей, чересчур откровенной туникой. Кто знает? Может быть, со временем классицизм приберет к рукам даже парижских модисток и камелий, которые с высоты своего классически модного величия, предпшут всем нашим барыням носить хоть летом классические туники. О, тогда, Клио, я уверен, ты будешь в холе. Теперь ты почернела от времени, позеленела от сырости. Твои прекрасные волосы, туника и даже лицо носят на себе отпечаток нецеремонного обращения приволжских пернатых. Они не уважают ничего классического... Тогда сама полиция взглянет на тебя благосклонно, и юпитерообразный полицмейстер города Приволжска издаст приказ отчистить тебя, а дерзких пернатых ловить и представлять по начальству. Счастливое будет время. Тогда, наверное, все узнают, в ознаменование чего ты тут поставлена».

Вот так. Нарост на обществе. Клио в тунике. Запущенность, глупость и ханжество.

А вот ситуация, казалось, совсем безобидная. Установка в центре города Смоленска памятника Михаилу Ивановичу Глинке, автора патриотической оперы «Жизнь за царя».

В печатном органе «Смоленский вестник» появилась информация: «В 1870 году в среде смоленских дворян возникла мысль об устройстве памятника Михаилу Ивановичу Глинке, как гениальному русскому композитору и как дворянину Смоленской губернии. Эта мысль принята была всеми вполне сочувственно; вскоре была подана просьба к г. министру внутренних дел об исходатайствовании высочайшего разрешения на открытие с этой целью по всей России подписки».

Все проходило вроде бы нормально. И в 1885 году тот же «Смоленский вестник» сообщал, но уж об открытии: «Парусиновое покрывало, скрывавшее дотоле памятник, упало, и глазам всех представился величественный монумент композитору, которому еще не было равного в России. В то же мгновение по мановению жезла г. Балакирева с эстрады раздались звуки гимна „Слався“, исполненного хором и оркестром с колокольным звоном».

Поражало и меню праздничной трапезы: «Суп-пюре барятенской, консоме тортю, тартолетты долгоруковские, крокеты скобелевские, буше Смоленск, тимбали пушкинские, стерляди Паскевич, филей Эрмитаж, соус Мадера, гранит апельсиновый, жаркое: вальдшнепы, рябчики, бекасы, цыплята; салат, пломбир Глинки, десерт».

А где же интрига? Интрига в ограде. Критик В. Стасов так о ней писал: «Решетка к памятнику Глинки совершенно необычная и, смело скажу, совершенно беспримерная. Подобной решетки нигде до сих пор не бывало в Европе. Она вся составлена из нот, точно из золотого музыкального кружева. По счастью, к осуществлению ее не встретилось никакого сопротивления».

Между тем к сопротивлению действительно готовились. Вдруг власти заподозрят в этих нотах – тайнопись, крамолу, рогатого чорта? Все могло быть. Обошлось. И уже упоминавшийся «Смоленский вестник» снова – на сей раз с видимым облегчением – писал: «Эта решетка так художественно задумана и так мастерски исполнена, что она является как бы вторым монументом нашему гениальному композитору. В ней все соединено: и оригинальность замысла, и монументальная прочность, и артистическая работа. Она вся железная, ручного кузнечного дела, легкая, изящная, но скована на века. И кружево – монумент! Она вся почти составлена из нот – творений великого человека, чью статуя она будет ограждать».

Памятник был принят без купюр.

Впрочем, в двадцатом веке памятники ставили, что называется, без страха и упрека. И постановка монумента где-нибудь в губернском городе нередко делалось событием масштаба государственного, но уже не на уровне царя и министерств, а на уровне интеллигент-

ского сообщества. Вот, в частности, как описывал столичный стихотворец. Городецкий церемонию открытия воронежского памятника И. Никитину, тоже поэту, но воронежскому: «Народ набился во все прилегающие улицы... Ветер треплет покрывало... Вышел городской голова с цепью и открыл памятник... Надо перо Гоголя или Андрея Белого, чтобы описать городского голову и его речь... Памятник очень хорош... Никитин сидит в глубокой задумчивости, опустив руки. Сходство, по-видимому, полное. Племянницы прослезились, вспомнили, зашептали: «Как живой!»... Момент, когда упал покров, был сильный: какой-то молчаливый вздох пронесся над толпой, и все глазами впились в представшего поэта».

Кстати, с самим Городецким на открытии произошел конфуз – его, известного поэта, до обидного проигнорировали: «Мои бедные алоцветы понемногу обрывала толпа, да и вынести их было мне, записанному в самом конце, когда все смешалось, невозможно. Да и не вызвали, по правде сказать, меня».

Правда, у свидетелей того события было иное мнение на его счет. Одна из участниц церемонии писала: «Если бы он не явился каким-то генералом от литературы, а связался бы с какой-нибудь общественной организацией... то и выступление его произвело бы надлежащее впечатление, и „бедные цветочки“... не были бы растоптаны под ногами толпы».

Меж улиц, проулков великих и малых,
Широких и узких, мощеных и грязных...
Есть улица в городе нашем одна,
Садовой великой зовется она.

Этот грек – он много знал
И умел послужить Отчизне,
Оставляя след своей жизни,
Он задумал сделать канал...

Грек, богатств своих не щадя,
Да и сил не щадя немало,
За собой мужиков ведя,
Дал дорогу воде канала.

За свои дела человек
Ни наград не ждал, ни оваций.
Но запомнил город навек
Имя доброе – грек Варваций.

Пахнет скверно на Канаве...
Время попросту губя,
Люди в праздничной забаве
Ходят, мучая себя...

Смотрите, русское дворянство,
Петр Первый и по смерти строг, —
Глядит на интендантство,
А пальцем кажет на острог!

...Песчинка, как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом, как перо, огне,
Так я в сей бездне углублен
Теряюсь, мыслями утомлен».

Хождение во власть

Главное здание в любом провинциальном городе – конечно, городская дума. Или здание губернского правления. Чаще всего два этих органа делили одно здание на двоих. В этом случае, в городе было одно главное здание. А если не делили, главных зданий было два.

Логичным образом все в том же главном здании располагались и присутственные места чиновников. Словом – большой правительственный дом, в котором проходили официальные, полуофициальные и совершенно неофициальные события. Иное же событие не сразу и поймешь, к какому именно роизряду отнести.

Вот, к примеру, случай из жизни кронштадтской городской думы, описанный протоиереем П. Левинским: «На особом столе приготовлена была закуска. Все закусили и заняли свои места за столами. Обед начался. Вдруг входит почему-то запоздавший генерал Николай Александрович Чижилов, в то время вице-президент Кронштадтского попечительного о тюрьмах комитета, и с некоторым смущением один направляется к столу с закуской. Никто из нас не догадался встретить пришедшего, а отец Иоанн, сидевший во главе стола, сейчас же поднялся со своего места и пошел к нему навстречу. Мало того: с неподражаемым радушием сам повел запоздалого гостя к столу с закусками, налил ему вина и сам выпил вместе с ним, разговаривая, поджидал его у стола, пока тот не кончил закусывать, и вместе с ним сел за обеденный стол, предоставив ему место рядом с собой».

Правда, таким несколько сбилась вся обеденная церемония, но зато Иоанн Кронштадтский (а это был, разумеется, он) проявил заботу и великодушие.

Ну и какого плана это происшествие? Официальное? Неофициальное? Житийное?

Впрочем, конфигурация и логистика правительственных помещений была подчас самая неожиданная. Один владимирский мемуарист писал: «Мы видим перед собой двухэтажное деревянное старое здание с двухскатной крышей. В нем помещались: наверху Городская Дума, в нижнем этаже манеж, то есть городской караульный гарнизон; рядом стоял дом с пестрой деревянной будкой для часового с небольшим колоколом для сигнала. Рано утром и по вечерам наше внимание привлекали „разводы“ караулов под барабан с исполнением гимна и чтением молитв, после чего дежурный караул отправлялся на место дежурств в острог и арестантские роты, а также для охраны военных пакгаузов в самом городе и на его окраине».

То есть, главные чиновники Владимира, по сути говоря, сидели на конюшне.

Самая, пожалуй, колоритная правительственная постройка находилась в городе Ростове-на-Дону. Она и называлась соответствующим образом – Городской дом.

Он появился на Большой Садовой улице в 1899 году. Это постройка административна по определению – она предназначалась специально для ростовской думы и управы. Больше того – перед архитектором заранее поставили задачу сделать дом, самый красивый в городе. Что он и выполнил – в традициях своей эпохи, разумеется. А архитектором был знаменитый Померанцев, незадолго до этого прославивший себя постройкой московского ГУМа (в то время – Торговых рядов).

Не пожалели денег на иллюминацию – установили на фасаде около тысячи «лампочек накаливания разных цветов... в металлических звездах и инициалах... с добавлением двух звезд и гирлянд к ним до крайних балконов». Словом, отстроили на радость жителям роскошное и не лишнее притом изящество сооружение. А также совершеннейший объект для всевозможных анекдотов и насмешек.

Как известно, отношение русского человека к высокопоставленным чиновникам отнюдь не восхищенное. Это – увы, традиция, к тому же постоянно укрепляемая поведением самих руководителей народной жизни. Город Ростов, конечно, не был исключением и, более того,

в силу типично южной откровенности и темпераментности, стоял в этом отношении одним из первых.

О бессмысленности (если не злобредности) трудов ростовских думских деятелей было даже сложено стихотворение:

(Заметим в скобочках, что Темерник – всего лишь узкая речушка, протекающая через город.)

Некомпетентность высокопоставленных ростовцев была темой, очень популярной среди жителей. Если верить местной прессе, то эта некомпетентность подчас доходила до элементарной и, безусловно, позорной неграмотности. Вот, например, фельетон из «Приазовского края», в котором журналист (псевдоним – Пикквик) моделирует свою беседу с неким думцем:

«– Зачем вы, господин Пикквик, употребляете в своих «Злобах дня» оскорбительные выражения по адресу почтенных людей?

– Какие выражения?

– Да вот вы недавно назвали одного гласного думы гуманистом. Разве же так можно? Ведь это заслуженный человек, первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин...

– Но откуда же вы взяли, что слово «гуманист» – оскорбительное слово?

– Ну, уж оставьте! Вы в самом деле думаете, что мы, коли не учились в гимназиях да университетах, так, значит, и совсем невежды?»

Более того, время от времени в думе случались всякие сканальные и вместе с тем курьезные события, которые давали хлеб сотрудникам юмористических журналов всероссийского значения. Например, городской голова Горбачев распорядился не пускать на заседания думы одного журналиста. Тот, будучи высокочлассным профессионалом, все же проникал в зал заседаний, а его потом оттуда выводили полицейские.

Журнал «Будильник» на это откликнулся карикатурой и подписью: «Странные вещи происходят в ростовской думе! Если г. Горбачев не терпит никакой критики, то ему бы не ростовским головой, а китайским идиолом быть надлежало. Это было бы более подходящее для него амплуа».

А «Стрекоза» и вовсе опубликовала специально сочиненную к тому случаю басню:

Вместе с тем, несмотря на недобрую и комичную славу, польза от думцев была – город все-таки жил, строился, развивался. И Городской Дом у горожан скорее все-таки ассоциировался не с курьезами и склоками, а со счастливыми или же неудачными покупками – первый этаж главной ростовской достопримечательности был отведен под магазины.

Это условие, так же, как эстетическое лидерство постройки, ставилось заранее перед маститым Померанцевым. Более того, еще до окончания строительства были составлены и приняты условия, весьма выгодные для господ арендаторов: «Устройство внутренних лестниц на антресоли и в подвальные помещения относится к обязанности города... Отопление магазинов (центральное) относится к обязанности города и на его счет... Город обязан также устроить на свой счет провода для магазинов для пользования центральным освещением... Арендаторы пользуются бесплатно водопроводом и канализационными устройствами». Не удивительно, что помещения охотно разбирались лучшими коммерческими фирмами Ростова-на-Дону.

Здесь расположились магазины модные, писчебумажные, гастрономические. Некоторые были уникальными и предлагали те товары, которые нигде больше нельзя было купить не только в городе, но и в окрестностях. К примеру, фирма С. Черткова была эксклюзивным представителем на территории Области войска Донского и Кавказа германского производителя пластинок «Лирофон» и германской же граммофонной фирмы «Карл Линдштрем». Продукция же «Карла Линдштрема» числилась среди лучших в мире. Вот, например описание одного из агрегатов этой фирмы – «Парлофон»: «Замечательно изящный красивый корпус Африканского магоны, бока с 3-х сторон отделаны греческой серебряной пилястрой. Механизм

„Парлофон“ никилерованный последней конструкции, при заводе играет 12 минут... Концертная мембрана „Эксибишн“ – одна из лучших существующих мембран».

Можно сказать, что магазины Городского Дома составляли этакое элитарное торговое товарищество. Многие вопросы решались совместно, и время от времени к думцам поступали такие бумаги: «Покорнейше просим дозволить приглашенному нами для привлечения публики оркестру играть в определенные дни и часы во дворе городского дома».

Думцы обычно не отказывали. Город не такой уж и большой, зачем же портить отношения с хорошими и, главное, небедными людьми.

Страсти, подобные ростовским, разумеется, разыгрывались не везде. Более характерной была ситуация орловская. Тамошний литератор П. И. Кречетов писал: «Думу составляли исключительно купцы из числа тех, у которых бороды подлиннее и животы пообъемистее... Невзирая на всю несложность городских дел, гласные – купцы собирались в думу неохотно. Они были домоседами и любили больше сидеть около своих крупитчатых купчих... Бывало орловский голова Д. С. Волков чуть не плакал, умоляя, убеждая гласных явиться на заседание думы. Но тщетны были просьбы головы – гласные не являлись, вследствие чего решение даже важных вопросов приходилось откладывать чуть ли не 20 раз».

Вот это – по нашему!

* * *

Весьма своеобразным властным учреждением была так называемая духовная консистория – высшее церковное начальство города. Как не трудно догадаться, она ведала и назначениями на духовные должности, и распределениями денежных потоков. В результате консистория считалась чуть ли не самым коррумпированным властным органом в провинциальном городе. Ярославский обыватель С. В. Дмитриев писал: «В консисторию без взятки не ходи, ни духовное, ни штатское лицо! Даже противно и стыдно становилось за людей, чиновников консистории, до чего они измельчали в своем взяточничестве, вернее лихоимстве! Когда, например, я усыновлял своих ребят, незадолго перед первой мировой войной, то понадобилась мне справка из консистории о крещении детей, так как церковные книги (метрические) сдавались ежегодно в консисторию, куда я и явился за справкой. Ходил я раза три-четыре, наконец мне один знакомый семинарист Михайловский сказал: „Да ты, Сергей Васильевич, дай чиновнику-то рублишко, вот и вся недолга, а то в наше божественное учреждение проходишь...“ Я так и сделал. Чиновник, взявший „рубличко“, предложил мне тут же сесть, сейчас же достал книгу, списал с нее что требовалось, сбегал поставить печать и „с почтением“ вручил мне нужную справку».

А купец Титов, житель Ростова Великого, описывает тот властный орган в стихотворной форме:

В той же ярославской консистории служил секретарем премилый во всех отношениях обыватель – Аполлинарий Платонович Крылов. Известный краевед и церковный историк (и то, и другое – абсолютно бессеребреннические поприща) он, заступив на эту должность, вдруг переменялся абсолютно. И в Ярославле появилась поговорка: «Аще пал в беду какую, или жаждеши прияти приход себе или сыну позлачнее – возьми в руки динарий и найди, где живет Аполлинарий».

За «динарии» тот краевед готов был, как говорится, собственную дочь живьем зажарить.

От скуки и от пьянства в консисториях случались просто невообразимые истории. Вот один такой случай. Писец костромской консистории Константин Благовещенский, будучи сильно пьян, столкнулся с консисторским же столоначальником Чулковым. Чулков, ясное дело, принялся его ругать. Ругал долго и, скорее всего, нудно. Благовещенскому это надоело, он вытащил револьвер «Смит-и-Вессон», выстрелил в Чулкова и пошел в кабак – видимо, праздновать победу.

Там его и повязали, буквально через несколько минут. Писец был пьян настолько, что вообще не помнил всю эту историю. Ему казалось, что он так с утра в том кабаке и просидел, а на службе вообще не появлялся.

Впрочем, писца наказали не строго. Он был пьян настолько, что не смог попасть даже в стоящего перед ним человка. Чулков, как говорится, отделался легким испугом.

А дела, что разбирались в этих консисториях, были подчас весьма курьезными. Вот, к примеру, какое письмо пришло в 1906 году епископу Калужскому и Боровскому Вениамину от Фрола Титова Сорокина: «Имея у себя совершеннолетнего сына Адриана и не имея в доме своем кроме больной и престарелой жены работницы, я вздумал в нынешний мясоед женить сына, для чего и сосватал ему невесту крестьянскую девицу Татьяну, о чем и уведомил своего приходского священника о. Александра Воронцова. Но священник мне объявил, что венчать моего Адриана не будет потому что будто бы он идиот. Я, находя такой отказ не основательным по следующим основаниям: 1. Не имея никаких причин, указанных в законе Гражданском т. 10, часть 1, ст. от 1-ой до 25-ой о союзе брачном, а также и всем и каждому, как на нашей улице так и на соседней с ней известно, что сын мой Адриан здоров и все работы свойственно по возрасту исполняет, как и другие в его возрасте и 2. что сын мой в минувшем 1905 году призывался к отбытию воинской повинности и по освидетельствовании в присутствии был как льготный 1-го разряда зачислен в ратники ополчения о чем и выдано ему свидетельство за №1435-м, следовательно из всего ясно, что сын мой не идиот, а иначе он не был бы принят в ополчение, да и не мог бы работать, а если по мнению о. Воронцова не так развит сравнительно с другими, то это не есть законной причины к отказу повенчать его. Представляя при сем Вашему Преосвященству по видимости его свидетельство, выданное из рекрутского присутствия, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Преосвященство сделать свое Архипастырское распоряжение нашему причту о повенчании моего сына Адриана как не имеющего тому указанных в законе Гражданском препятствий. Свидетельство прошу мне возвратить».

Конечно, высокопоставленный церковник не стал вникать в весь этот бред, и передал послание Сорокина в здешнюю консисторию. Там, разумеется, первым делом потребовали объяснений у священника Александра Воронцова. И батюшка дал показания: «Сын крестьянина Титова, он же Сорокин, Адриан был известен мне лишь только на исповеди, при чем у меня составилось мнение о нем, как о человеке слабоумном. В настоящем году, когда отец его Фрол вздумал женить своего сына Адриана, я, чтобы проверить сложившиеся у меня о нем убеждения, просил прислать означенного Адриана для испытаний. Фрол прислал сына, и в разговоре с ним оказалось: что молитв он не знает ни одной и на все мои вопросы давал ответы неудовлетворительные, так например: на мой вопрос: у кого больше денег, если у меня 80 копеек, а у него 1 рубль, он ответил: «у вас всегда больше денег»; на вопрос, сколько у него на руках пальцев, он ответил: «много», а сколько именно, сказать не мог и кроме того не мог отличить правой руки от левой и т. д.

Ввиду такой умственной неразвитости и незнания же молитв я, несмотря на его работоспособность и зачислении его, Адриана в ратники ополчения (где однако сбора он еще не отбывал), отказал Фролу в повенчании в настоящем мясоеде сына его Адриана, а предложил ему 1. поучить сына молитвам, 2. дождаться учебного сбора, когда бы выяснилась вполне способность его к службе и 3. заставлять его возможно чаще возвращаться в круг людей, через что он может развиваться, так как до сего времени он избегал людского общества».

Вениамин, однако, принял судобоносное решение – не взирая ни на что, женить «означенного Адриана».

* * *

Одним из видных властных органов считалось земское собрание. Правда, его деятельность более касалось реальностей не городских, а сельских – открытие школ, медицинское обслуживание, санитарная пропаганда и прочее. Но само здание земства находилось, разу-

меется, в губернском городе. Там же устраивались многочисленные земские мероприятия. И в том, что касается внешнего вида, земское собрание подчас не уступало думе. В начале прошлого столетия тамбовские газеты предвкушали появление новинки: «Новое здание, слившись со старым, займет пространство до угла Араповской и протянется до здания земской типографии. Новый земский дом обещает быть чуть ли не первым по грандиозности и красоте зданием города».

Со всей губернии шли в земство злезные послания такого рода: «Положение Приказниковского училища весьма безотрадное. Оно стоит на краю деревни, почти в поле, на возвышенном месте; кругом нет ни деревца. Оно выстроено еще в 1889 году из старого материала. Небольшие окна его находятся низко над землей. Полуразвалившееся крыльцо разделяет это здание на две половины: в одной – класс, в другой – комната для учащего и кухня. Эти два помещения разделяются холодными сенями. Опишу сперва обстановку класса. В нем нет раздевальни. У входа висят 60 полушубков, отступя шаг, стоит стол учащего, а за ним – рядами парты, числом 11... Классная доска одна, на ней черная краска от времени уж начала стираться, а посередине нее образовалась трещина насквозь. Эту доску приходится переставлять то в одну половину класса... то в другую...

Ни счетов, ни глобуса не имеется. Школьного шкафа для книг нет, устроено только помещение для них, а именно: место за печкой отгорожено дверями, здесь набиты полочки, на которых и разложены книги. В результате такого устройства шкафа все книги в нем ежедневно покрываются пылью, а за лето многие из них изъедаются мышами. Печка в классе занимает много места, она требует поправки, так как растрескалась, и наверху ее каждый год сторож замазывает глиной. Вот какова классная обстановка. Квартира учащего в этом отношении не уступает классу. Это небольшая комната с перегородкой, которой отделена кухня. Посреди комнаты стоит «спасительница», железная печка. Комната оклеена белыми обоями, которые источены мышами. Пол под ногами скрипит и «ходит». Одна половица на самом ходу вот-вот проломится. Обстановка такова: стол, три табурета и старая железная кровать. В этой комнате зимой бывает очень холодно. Спасаясь только железной печкой, в большие морозы она топится непрерывно. И так жить еще можно, были бы присланы деньги на содержание училища».

А известный ученый Владимир Вернадский был активистом тамбовского земства. Выступал, например за создание школьных библиотек. Предлагал на это дело выдать каждому уезду по 300 рублей. Он уверял: «Назначением этой суммы губернское земство выполнило бы свой нравственный долг по отношению к народному образованию в губернии».

Товарищи по земскому собранию скептически качали головами – дескать, есть вопросы более насущные, а вам же, Владимир Иванович, было б неплохо заняться своими науками. И Вернадский занимался – поднимал все в том же земстве вопросы, связанные с орошением земель. Обретал единомышленников среди садоводов-любителей. Один из них, князь Чолокаев, в частности, писал Владимиру Ивановичу: «На последнем губернском земском собрании прошел вопрос об обследовании почвы всей Тамбовской губернии в течение трех лет, на что ассигновано 33 тысячи рублей. Я, со своей стороны, полагая, что 56 агрономов и столько же их помощников, ... принятых для губернии, было бы достаточно для исследования в течение трех лет пахотного слоя почвы; возражал, что для этой цели не нужно приглашать почвоведов и платить за это 33 тысячи, но, видя, что собрание склонно принять предложение управы о приглашении почвоведов, убедил собрание возложить на них исследование не только пахотного слоя почвы, но и подпочвы».

Вернадский соглашался с Чолокаевым.

Земский деятель – особый тип провинциального интеллигента. Череповецкий городской голова И. Милютин писал: «Среди земцев было немало хороших людей. В числе первых можно считать Н. В. Верещагина. Этот молодой человек был достаточно образован, принадлежал

к хорошему роду череповецких дворян. После сделанного им почина в деревне втолковать крестьянам о разных полезных нововведениях, он вошел в среду горожан, много говорил им нового, интересного, видимо, искренне желал добра Обществу. Помнится мне, как будто это было вчера, является в город молодой человек из дворян в дубленом полушубке, опоясанном кушаком, в барашковой шапке, в рукавицах. Часто хаживал из усадьбы отца, 18 верст в город и обратно пешком... Вслед за Верещагиным, а точнее рядом с ним, появился в Череповце еще один молодой человек, такой же симпатичный и так же из местных дворян – Александр Николаевич Попов. Первым делом его было открытие 35 школ в уезде. Вместе со школами он организовал удовлетворительно медицинскую часть в уезде».

Был известен еще один земский врач, П. И. Грязнов. Он защитил диссертацию: «Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медико-топография Череповецкого уезда». Увы, но выводы его были неутешительны: «Из нашего исследования очевидно, как плохи жизненные условия населения, как ничтожна производительность его труда, и как малы средства его в борьбе против неблагоприятных жизненных условий».

Существовал своего рода земский этикет, подчас непостижимый. Вдруг ни с того, ни с сего смоленский съезд земских врачей прерывает свою работу для того, чтобы послать приветственную телеграмму Д. Жбанкову, бывшему земскому врачу: «Многоуважаемый Дмитрий Николаевич! Съезд врачей Смоленской губернии выражает глубокое сожаление, что он лишен возможности пользоваться вашим участием в его работе. С чувством искренней благодарности, вспоминая Вас и Ваши заслуги на пользу врачебно-санитарной организации в губернии, съезд просит вас, как хранителя и проводника лучших земских традиций, принять выражение нашего искреннего уважения и наш привет».

Жбанков сразу же отвечает, тоже телеграммой: «Горячо приветствую Смоленских земских товарищей, снова собравшихся для общего дела. С искренним удовольствием вспоминаю о нашей совместной работе на прошлых съездах и чту память главных инициаторов этих съездов А. Н. Попова и Н. А. Рачинского. От всей души желаю, чтобы дружные и плодотворные занятия представителей земства и земских врачей идеала дорогой земской медицины: «Земский врач в один день может обойти весь свой участок!» Только при этом условии земская медицина приобретает свой истинный характер – быть преимущественно предупредительно-санитарной. Только при этом условии она выполнит завет нашего учителя Н. И. Пирогова: земской медицине придется бороться с невежеством и предрассудками народных масс и видоизменять все их мировоззрение.

Но без подобных церемоний, вероятно, было невозможно существование такого замечательного типажа, как земский деятель, несущий просвещение в темные, невежественные массы.

Кстати, многие просветительские мероприятия устраивались прямо здесь, в домах земских собраний. В частности, «Смоленский вестник» сообщал в 1909 году: «Интересная лекция. Завтра в зале губернской земской управы инженером-механиком Аронтрихер прочитана будет интересная лекция об успехах воздухоплавания.

Лекция будет сопровождаться туманными картинками. Содержание лекции: 1) история развития воздухоплавания, 2) принципы полета тел легче воздуха, 3) воздушные шары, 4) первые управляемые шары, 5) современные управляемые аэростаты и их различные системы, 6) принципы полета тел тяжелее воздуха, 7) полет птиц, 8) сравнение человека и птицы, 9) историческое развитие системы тяжелее воздуха, 10) последние успехи авиации (Состязание в Реймсе), 11) Аэропланы. Сравнение аэропланов и аэростатов и их значение в жизни человечества. Начало ровно в 6 час. вечера».

А в муромской земской управе проходили Публичные чтения религиозного и нравственного воспитания. Газета «Современные известия» писала об этом мероприятии: «Отрадное явление составляют в Муроме народные чтения под руководством умнейшего соборного про-

тоиерея Орфанова – местного археолога. Отец протоиерей Орфанов настолько заинтересовал публику чтениями, что на них менее 200 человек никогда не бывает, а иногда приход простой публики доходит до 500 человек и более. Чтения расположены так: сначала читается какая-либо или божественная или духовно-полезная статья, а потом певчие поют какой-либо стих. Бывает, но весьма редко, что и полковая музыка дает свой труд при чтениях, что весьма разнообразит чтения и приносит пользу и удовольствие муромским жителям низшего класса...»

Организатор же чтений, поручик И. Бурцев (он же председатель Земской управы и предводитель муромского дворянства) заявлял, что «чтения эти бывают весьма многолюдны; пол же в зале не представляет достаточного обеспечения безопасности вследствие излишней тяжести, он находит необходимым доложить об этом земскому собранию и тем сложить с себя ответственность в случае какого-либо несчастья.»

Народ же умел по достоинству оценить эту заботу. В частности, крестьяне Судогодского уезда Владимирской области обратились в земство с необычной просьбой: «На примере войны с Японией мы убедились, какое преимущество имеет обученный японец перед нашим темным солдатом-мужиком. Убеждены также, что обученный человек является лучшим „народным представителем“, при свете учения в гору пойдет и крестьянское благосостояние. Обращаемся к земству как к единственному учреждению, которое приходит на помощь мужику в деле образования: выстройте в нашей деревне школу, Бога ради, и выведите нас из тьмы невежества. Для школы даем землю и просим устроить на ней опытный огород и сад с пчельником».

Земская школьная комиссия, конечно, умилилась. И постановила: отказать. «Ввиду того, что в 2,5 верстах отстраивается школа в д. Овцино, строить еще школу не надобно».

* * *

Вообще говоря, провинциальный общественно-политический истеблишмент – явление, достойное отдельного исследования. И, по большому счету, не так важно, в какой именно должности состоит тот или иной деятель, и в каком городе он проживает. Хотя бы в силу бешеной ротации подобных граждан. Сегодня он возглавляет земство в Калуге, завтра судебную палату в Саратове, а послезавтра баллотируется во владимирскую думу. Личности же среди этих граждан случались презанятные.

Властная провинциальная итрига – вещь трагикомичная. Сколько сил брошено, сколько нервов потрачено – и ради чего? Не понять.

Вот воспоминания одного костромича: «Сегодня великий день и страшный для многоуважаемого Григория Галактионовича Набатова: сегодня выборы в Головы городские. Велико и страшно для Набатова, потому что ему ужасно хочется вновь остаться при этой должности, но сильная партия его вовсе не желает. После обедни, данной Г. Г. гласным выборным, и после присяги поехали в дом городского Общества для выбора. Предложено было прежде сделать записки, которых более оказалось на Чернова, следовательно, и предложили его первого баллотировать. Долго, очень долго он ломался, отговариваясь, но наконец согласился, и положено было за него из семидесяти одного пятьдесят семь белых шаров. Конечно, после этого бедный Г. Г. отказался баллотироваться, да и его даже никто и не просил. Но все таки в память его двенадцатилетней службы, то есть, с начала нового городского положения, постановили избрать его Почетным гражданином города Костромы и повесить его портрет в городской Думе. После поехали поздравлять в дом Василия Ивановича Чернова».

Впрочем, это – всего лишь начало истории. Продолжение же таково: «Сегодня злобою дня был в Думе вопрос об обеде в честь прежнего Городского Головы Г. Г. Набатова и назначении его звания Почетного гражданина города Костромы и о помещении его портрета в здании Городской Думы. Первый вопрос бесспорно сошел, но второй и третий повлекли за собою бурные сцены, вся Дума бедного Григория Галактионовича была рассмотрена, все его сорокадвухлетние, но более двенадцатилетние деяния были строго оценены, так что, как выразился Ширкий, гласный, ему делали в этот вечер инквизицию. После долгих прений едва ли могли

удостоить его звания Почетного гражданина города Костромы, но вопрос о портрете провалился с полным фиаско...

Заседание окончилось. Вот собралась партия гласных для совета о чествовании Набатова. Вдруг Аристов обращается к отцу, говоря: «Просим вас, Михаил Николаевич, ехать завтра просить Набатова на обед»... Отец на это ответил, что ему ехать совестно».

Совестно, не совестно – а ехать надо: «Во втором часу пополудни я с отцом поехал на обед в Думу. Но только вступили в крыльцо, как Зотов, Стоюнин потащили отца ехать с ними к Набатову вторично приглашать.

Тут же говорили о скандале отца с Аристовым, будто бы многие осуждают Аристова, а я с Аристовым чтобы не сходилась и не здоровался.

Приехал губернатор. Затем, после всех уж, едет юбиляр, и как только вступил он на крыльцо, музыка заиграла, и, предшествуемый Черновым, он вошел в зал. Минута была торжественная, тут уж все враги преклонились.

Обед – сошло все хорошо. Губернатор исполнил просьбу купцов, сказал очень радужное слово Набатову, ставя высоко его сорокадвухлетнее служение, речь его была покрыта громким «ура!». Аристов говорил несколько разных бессвязных речей, не доведших чуть до скандала, и очень крупного, следующим: вдруг он начинает восхвалять доблести настоящего губернатора и при этом критиковать бывших... Конечно, следовало бы Андреевскому протестовать против этого, но он смолчал. Но Негребецкий, председатель окружного суда, сказал Аристову, сидящему с ним рядом, разве за то только он восхваляет губернатора, что тот много пьет. Слышал ли это губернатор или нет, но смолчал, а я думаю, что слышал, потому это было близко, но только вдруг вскакивает Скалон, начиная против этого резко протестовать Негребецкому. Спасибо Прозоркевичу, он быстро очутился около Скалона и успел его успокоить, иначе бы вышел громадный скандал».

Таковыми вот «громадными скандалами» подчас и жил провинциальный политический бомонд.

Трогательным интриганом был симбирский губернатор М. Магницкий. Он настолько часто менял свои взгляды, что князь Вяземский об этом даже сочинил стихотворение:

А литератор Владимир Панаев писал, что Магницкий время от времени даже «выходит из кареты, несмотря на грязь и холод, чтобы принять благословение бегавшего по симбирским улицам так называемого Блаженного в надежде, что об этом дойдет до князя Голицына, а через него, может быть, и до государя».

Своеобразен был самопиар и костромского чиновника средней руки, некого Аристова. Один из современников писал о нем: «Василий Васильевич Аристов, по образованию инженер, был фабричным инспектором, однако инженерными знаниями не блистал, удач на служебном поприще не имел, но принимал деятельное участие в общественной жизни. Имея небольшой деревянный дом на Смоленской улице, много лет был избираем в гласные думы. Будучи характера желчного, всегда был в оппозиции, подвергая критике на заседаниях думы деятельность членов управы. Выступал по любым вопросам. Однажды, желая укунить одного из членов управы, заявил на заседании думы, что в городе плохо освещают улицы, указав, что вчера не горели два керосиновых фонаря на таком-то перекрестке. На это соответствующий член управы реагировал заявлением, что для освещения городская управа отпускает достаточное количество керосина, а если фонари не горели, то виноваты фонарщики. Так как заявление сделано таким уважаемым гласным, то оно в проверке не нуждается, и фонарщики, виновные в этом, будут оштрафованы. Аристов метил не в фонарщиков и был очень недоволен, что не удалась его демагогия.

Для увеличения своего авторитета он садился по вечерам за письменный стол в своем доме, освещенный керосиновой лампой, причем занавески нарочито отсутствовали. Проходя-

щие обыватели могли лицезреть сидящего Василия Васильевича, думающего о благе городских дел.

Однако его язвительный язык заставлял быть начеку, и в этом положительная роль Аристова в городских делах».

Общее место русского провинциального топ-менеджмента – самодурство, взяточничество и отсутствие ума. Как уживались в них эти три качества – не ясно. Вроде бы, для того, чтобы брать взятки, нужны мозги – хотя бы для того, чтобы не попадаться. Но, вероятно, взяточничество, как и казнокрадство, было в России делом фактически неподсудным – главное не забывать делиться с высшим руководством. Вот и смеялись горожане над своими славными руководителями, а те делали вид, что ничего не замечали, лишь каждый прикладывали новую копеечку к своему уже сложившемуся капиталу.

Глупость городских чиновников сомнению не подвергалась. Вот, например, в ярославской газете под названием «Северный край» была опубликована безобидная детская сказка Ариадны Тырковой «Глупый тюлень». Кто-то из местных острословов обратил внимание на то, что Борис Штюмер – тогдашний ярославский губернатор – внешне напоминает тюленя. И все. Кличка «Глупый тюлень» накрепко прилипла к бедному губернатору. Не взирая на то, что сама Ариадна Тыркова публично призналась, что отнюдь не имела в виду губернатора в качестве прототипа своего героя (то есть, как раз писательница повела себя не слишком умно).

Но нет, как говорится, дыма без огня. И множество российских губернаторов и их ближайших подчиненных только и делало, что подтверждало тезис об умственной несостоятельности провинциального административного олимпа.

Житель того же Ярославля К. Доводчиков посвятил ему малоприятное стихотворение: Все перечисленные, мягко говоря, давали повод.

Забавная история произошла с одним из губернаторов Смоленска, П. Трубецким по прозвищу Петух. Из Смоленска этого достойнейшего господина вместе с кличкой (так уж вышло) перевели в Орел. И уже в Орле он разругался с тамошним архиереем Крижановским по кличке Козел. Николай Лесков писал о том, что было дальше: «Душа местного дворянского общества, бессменный старшина дворянского клуба, человек очень умный и еще более – очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник отставной майор А. Х. Шульц, стал олицетворением местной гласности, придумав оригинальный способ сатиры: на окне своего дома он стал представлять двух забавных кукол, олицетворявших губернатора и архиерея – красного петуха в игрушечной каске, с золочеными шпорами и бакенбардами и бородатого козла с монашеским клобуком. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как состояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигающийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась вверх, каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите. Все знали, что это значит, и судили о ходе борьбы по тому, „как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся“. Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной».

Любопытен и симптоматичен был калужский губернатор Егор Толстой. О нем осталась вот такая малолестная характеристика: «Каждый праздник он непременно в церкви, каждый праздник у него по всему дому в каждом угле горят лампы и по всему дому носится запах деревянного масла и ладана. Разные батюшки, матушки, сборщики, странники, богомолки с просвирками не выходили у него из дома...

Неторопливость, неспешность были отличительной чертой служебной деятельности графа. Он прямо объявил, что в гражданской службе нет нужных и спешных дел, и положи-

тельно не признавал надписей на бумагах: «весьма нужное», «срочное» и т. п. Он говаривал: «А в гражданской бумажной службе какие-такие могут быть экстренности? Не все ли равно бумаге лежать в том или другом месте?»...

Закон был в полнейшем поправании... Взятничество было сплошное, повальное. Не брал только ленивый, и первые брали чиновники особых поручений богомольного губернатора. Под шумок его акафистов и молебнов, они, бывало, как заберутся в Боровск или Сухиничи... служащие раскольничьими гнездами, так у бедных раскольников только карманы трещат по всем швам. Вообще губерния представляла завоеванную страну, отданную на разграбление завоевателям...

Граф просидел в Калуге где-то года три или четыре. Можно себе представить, какие авгиевы конюшни оставил он своим преемникам».

Впрочем, сочувствовать этим преемникам нет особой охоты. Во всяком случае, ближайшему – Петру Алексеевичу Булгакову. Здешний чиновник Н. Сахаров так описывал этого тезку первого императора России: «Это был мужчина большой, смуглый, пучеглазый, весь бритый, пародируя Петра 1-го, по Калуге ходил с увесистой палкой, при случае пуская ее в дело. Вставал вместе с курами и в шесть часов утра принимал уже с докладом чиновников... Циничен был он – феноменально... Застав в губернском правлении невообразимую медленность и массу неразрешенных дел и бумаг, накопленных в неторопливое правление своего богомольного предшественника, он прежде всего самым позорнейшим образом разругал советников, секретарей, столоначальников, приказал им являться на службу в восемь часов утра и заниматься до двух. В четыре снова являться и сидеть до полуночи, назначив кратчайший срок для приведения делопроизводства в порядок. Чтобы канцелярия сидела на своих местах и не отлынивала от дела, выбегая во двор курить, губернатор приставил к дверям военных часовых с ружьями, которые сопровождали чиновников даже в известных экстренных случаях...

К массе ходивших по губернии разнообразных рассказов о крайнем его деспотизме, самодурстве, грубости, хроника его времени что-то не присоединяет рассказов ни о каких его мероприятиях по поводу нравственной чистоты служебного полчища. Оно по-прежнему казнокрадствовало, лихоимствовало, самоуправствовало... а при данном губернаторе, сообразно его темпераменту и системе, действовало быстрее и стремительнее».

А за Булгаковым пришел еще один Толстой, на этот раз Дмитрий: «Это был человек хотя приличный, корректный, о как администратор, личность бесцветная, бледная, не оставившая по себе никаких ярких воспоминаний... О таких деятелях хронологи обычно упоминают лишь только для полноты хронологической номенклатуры. Граф, может быть, и таил в себе какие-нибудь таланты, но как гоголевский прокурор не обнаруживал их по скромности...

Свободное время от служебной повинности старый холостяк заполнял преферансом, журфиксами, раутами, на которых, говорят, скука была смертная. Впрочем, он не чужд был литературы и что-то такое писал».

И такие перечни сменяющих друг друга личностей можно вести до бесконечность – в духе «Истории одного города». Разве что город был на самом деле не один, а сотни.

Однажды, например, ославился костромской губернатор Веретенников. Он выпустил глупейшее постановление, в соответствии с которым каждый домовладелец обязан был купить на собственные сбережения и вывесить на улицу большой яркий фонарь, на котором были бы написаны названия улицы и дома. Больше того, за счет того же самого домовладельца следовало жечь фонарь все темное время суток – следить, чтоб керосин не кончился, иначе – штраф. Для северной и небогатой Кострмы, в которой зимой темное время суток практически не прекращалось, лишних денег ни на фонари, ни на горючее не было ни у кого, а номерами домов никто и никогда не интересовался (город маленький, и так известно, кто где живет), это была мера, мягко говоря, не популярная.

Но здесь, что называется, нашла коса на камень. Один из членов костромского суда, некто Власов, отказался покупать фонарь. Его приговорили к штрафу в 50 рублей – он отказался выплачивать штраф. Самому Веретенникову уже стало неловко – он лично ездил к Власову (напоминаю: город маленький и все друг друга знают), умолял его смириться, заплатить этот несчастный штраф и, поговаривают, даже деньги предлагал, чтоб Власову на штраф не трагиться. Тот – ни в какую.

В соответствии с законом того времени назначили аукцион на власовское имущество – для уплаты штрафа. Первым лотом шла скверная пепельница. Кто-то из приятелей Власова сразу же предложил за нее необходимую сумму – все те же 50 рублей, после чего с брезгливым выражением лица вручил пепельницу хозяину – ему такая дрянь была, конечно, ни к чему.

Аукцион закончился, но дело продолжалось. Власов подал в Сенат жалобу на веретенниковское постановление. Жалоба, естественно, шла через все того же Веретенникова. Чуть ли ни на коленях он стоял, просил, чтоб Власов отозвал свой документ. Тот, однако же, был непреклонен.

Жалоба оказалась в Сенате, где сразу же отменили дурацкое постановление – в столице все прекрасно понимали и про деньги, и про ночи, и про размеры города, и про керосин.

Жители Костромы вздохнули с облегчением.

Кстати, иной раз губернаторы демонстрировали весьма и весьма завидную смекалку. К примеру, Загряжский – руководитель Симбирской губернии – для того, чтобы его пускали в девичьи покои дочери князя М. Баратаева, притворялся старушкой. Один из современников писал: «Он так хорошо загримировался и играл свою роль, что сам отец указал как пройти к дочери. Загряжский похвастался и опозорил имя девушки. Дворянство ополчилось против него, стали грозить скандалом и даже кулачной расправой... И в конце концов Загряжский вынужден был удалиться отнюдь не почетно».

Естественно, друзья Загряжского опровергали эту милую подробность жизни первого лица Симбирска. И так же естественно, что мало кто прислушивался к доводам этих друзей.

Даже когда губернатор умирал, на него как-то не распространялся принцип «либо хорошо, либо ничего». Вот, например, что сообщал «на смерть» другого симбирского губернатора Д. Еремеева некто А. Родионов: «Умер этот бесстыжий и красивый человек; по душе – добрый и готовый помочь как хороший товарищ, но... промотавший огромное свое состояние и пустивший семью чуть ли не по миру! Умер он 65-ти, но еще красивый и готовый поволочиться за каждой юбкой!!!»

Симбирску вообще «везло» на губернаторов. Практически у каждого из них был некий пункт, предававший ему более чем самобытные черты. Чего стоит, например, такая вот характеристика: «Теренин, крепостник в высшей степени, симбирский дворянин и помещик, необразованный, бывший военный; с брюшком, непредставительный, плохой работник, ухаживавший за архиереями и губернаторами, пока сам был небольшой птицей, держал себя гордо, надменно в сношениях с низшими, а иногда и равными, был с высшими же и равными натянуто любезен (двойственно). Имел наружный военный лоск. Любил собачью охоту, почему в своем имени держал не только охотничьи своры, но целый собачий двор... Был... гостеприимен, хлебосол».

Кто-то поражал одной лишь своей внешностью. Например, о господине Хомутове сообщалось: «Хомутов хорошей наружности, лет под 50, высок, плешив, с большим носом – весьма представительная личность, любезен, веселонравен, любит общество. Жена его – маленькая горбунья, но зато урожденная Озерова».

А некто Лукьянович, например, был донельзя ленив. Один из его современников писал: «Симбирский губернатор Лукьянович... был человек простой, добрый, большой хлебосол, любивший хорошо пожить, но не заниматься делами и особенно письменными, которые он вполне предоставлял своему секретарю, а сам только подписывал бумаги, исполняя эту обя-

занность по необходимости и не всегда терпеливо. Про него рассказывают анекдот: в одно прекрасное утро он мечтал у себя в кабинете о предстоящем пикнике, как увидел входящего к нему секретаря с огромною кипой бумаг для подписи; недовольный таким визитом, он сказал секретарю: «Что же вы, Яким Сергеевич, бумаги-то все ко мне, да ко мне, а деньги-то все себе, да себе – так возьмите же и бумаги себе».

Астраханский губернатор Бекетов прославился тем, что писал трогательные вирши:

И так далее.

Но самое, пожалуй, замечательное происшествие случилось с губернатором Воронеж князем В. Трубецким. Педагог Н. Бунаков писал об этом: «Князь любил покутить, и в его воронежской жизни был случай, доказавший, что губерния могла бы прекрасно процветать и без губернатора. Это случилось так. Один раз кучер привез выпившего и заснувшего в карете князя домой; постоял, постоял у крыльца и полагая, что барин вышел, отпряг лошадей, а карету задвинул в сарай, который, конечно, запер. Наступило утро, князя нет; проходит день, князя все нет. Но дела в губернии и в городе все-таки шли своим порядком и без участия губернатора, который нашелся только тогда, когда кучер вздумал помыться карету: оказалось, что по сараю расхаживает губернатор».

Действительно, без губернаторов – проще. Особенно без тех, которые описывались Салтыковым-Щедриным в «Истории одного города». А ведь большинство из них имело прототипы. Один из них «служил» писателю в городе Туле с декабря 1866 года по октябрь 1867 года, когда тот возглавлял Казенную палату. После чего был снят со столь высокой должности по повелению самого Александра II с убийственной формулировкой – как «чиновник, проникнутый идеями, не согласными с видами государственной пользы».

Естественно, что Салтыков-Щедрин не оставлял свои литературные труды и на казенной службе. Именно в это время возник наиболее зловещий образ из «Истории одного города» – губернатор Прыщ.

Майор Иван Пантелеевич Прыщ выглядел молодцом: «Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый».

Прыщ был самым демократичным губернатором города Глупова. Однако именно при нем жители наслаждались необыкновенным процветанием: «Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностью, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление».

Однако Иван Пантелеевич имел некоторые странности – спать, например, ложился на ледник, к тому же издавал запахи трюфелей и прочий гастрономии. В результате выяснилось, что у губернатора была нафаршированная голова, и ее сожрал глуповский предводитель дворянства.

В то время, когда Салтыков-Щедрин руководил палатой, в Туле губернаторствовал генерал Шидловский, отличавшийся невероятным тупоумием. И, без сомнения, Михаил Евграфович вспел в «Истории одного города» вполне определенного градоначальника.

* * *

От губернаторов не отставали и деятели рангом ниже. Собирательный образ такого чиновника вывел А. Ремизов в повести «Неуемный бубен»: «Двадцати лет начал он свою судебскую службу в длинной, низкой, закопченной канцелярии уголовного отделения, во втором этаже, и вот уже минуло сорок лет, много с тех пор сменилось секретарей, еще больше кан-

дидатов – все чужой, наплывный народ, а он все сидел себе за большим, изрезанным ножами столом у окна, выходящего в стену трактира, около которой испокон веку складывались дрова, и переписывал бумаги.

Поговорите-ка, кого-кого он только не знает, каких губернаторов не вспомнит, о которых давно уже все позабыли, да что губернаторов! – председателя первого суда помнит».

Впрочем, у этого образа был прототип – реальный костромской чиновник, некто Поле-таев, служивший в городском суде. О другом же судебном чиновнике писал костромич Чумаков: «В окружном суде был товарищем прокурора некий Кошуро-Масальский, стяжавший себе недобрую славу на политических процессах, на которых он неизменно добивался осуждения обвиняемых. Такая его усердная деятельность была замечена свыше, и он назначен был харьковским вице-губернатором. На новом месте он продолжал свою усердную службу царю и отечеству, начал громить разные общественные учреждения, возбудив к себе всеобщую ненависть. Все его деяния не встречали отпора со стороны его начальства. Губернатор Катеринич фактически делами не занимался, так как больше проводил время в разъездах.

Приехав на Пасху уже вице-губернатором в Кострому, где еще жил его семья, он явился на пасхальную заутреню в церковь Иоанна Богослова, где был прихожанином, в сопровождении двух городских в полном вооружении – слева сабля, справа револьвер. Эти два городских простояли всю службу за спиной Масальского, прикрывая его от всех прочих. Когда он двинулся к выходу, городские следовали за ним по пятам. Все это вызвало много разговоров, так как до сих пор никто не являлся в церковь под охраной полиции, ибо трудно было предположить, чтобы там произошло какое-либо покушение. Даже в очень обостренные времена 1905 года не было слышно о покушениях в церквях.

Будучи вице-губернатором в Харькове, он приказал, чтобы телефонные барышни при вызове из его личного телефона обязательно спрашивали не «что угодно?», как всех, а прибавляли «Ваше превосходительство». Так что, если бы телефоном воспользовался лакей, то он тоже именовался бы превосходительством».

А от же Чумаков описывал прелюбопытнейшую парочку: «В акцизном губернском управлении служил чиновник Бельченко, был он толстенький, кругленький, лысоватый, и лицо его было полно добродушия. Жена же у него была значительно моложе его, этак лет 35-ти, очень следила за собой, боясь потерять фигуру, была очень стройной. Звали ее Конкордия Николаевна, а за глаза Корочкой. Поэтому мужа ее, Александра Александровича именовали Мякишем. Когда они шли по улице, говорили: «Смотрите, Корочка идет с Мякишем».

* * *

Разумеется, не все чиновники были персонами трагикомичными. Взять хоть того же Салтыкова-Щедрина, неоднократно состоявшего при разных госучреждениях в разных же, но не малых должностях. В частности, в 1858 году он вступил в должность рязанского вице-губернатора. Он сразу удивил своих будущих сослуживцев невиданной ими до этого демократичностью. Один из современников писал: «Салтыков приехал без всякой помпы, запыленный, в простом тарантасе, – совсем, казалось, точно и не вице-губернатор, а самый простой чиновник.

Поразил он и своим подходом к службе. Другие очевидцы вспоминали: «Быстр он был на понимание всего, с чем бы ни пришлось ему встретиться, до такой, степени, что самую запутанную, написанную старым приказным слогом бумагу читал он, близко поднося ее к своим близоруким глазам, настолько скоро, что по движению его носа слева направо и обратно, по мере того, как глаза его пробегали строчки, можно было судить о стремительности процесса усвоения им всего прочитанного. Прочтя бумагу, он брал перо и сразу полагал на бумаге резолюцию, поражающую проникновенно ясным пониманием того, что необходимого, справедливого и полезного для дела по этой бумаге нужно было сделать».

Здесь же, в здании губернского правления, при Салтыкове оборудована была современной типография. Понятно, что книжное дело было для писателя стихией близкой. И не удивительно, что он воспользовался своими петербургскими знакомствами. Писал, к примеру, В. П. Безобразову, в то время редактировавшему журнал Министерства городских имуществ: «С величайшим удовольствием узнал я, многоуважаемый Владимир Павлович, об открытии Вами типографии и словолитни. По этому случаю у меня к Вам следующая всепокорнейшая просьба. Здешняя губернская типография имеет нужду в шрифте, и потому было бы весьма желательно, если бы Вы согласились исполнить заказ типографии и выслать полный шрифт с тем, чтобы типография выплатила вам сумму по третям... Если это дело для Вас возможное, то благоволите прислать ко мне: образцы шрифтов, в чем заключается полный шрифт, т. е. обыкновенный с подлежащим количеством петита, цитеро, латинских букв и т. д.»

Шрифты были получены. Дело с типографией пошло.

Салтыков Щедрин вновь оказался в городе Рязани в 1867 году. На этот раз он заступил в должность руководителя казенной палаты, располагавшейся все в том же доме. И снова поражал своих сотрудников: «Салтыков занимался в палате делом очень усердно, скоро и внимательно. Обладал быстрым соображением и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость».

Но в основном рязанцев поражаало следующие: «При нем не брали взятки, или так называемых благодарностей... не пороли чиновников и не сажали их под арест».

Такого странного начальника жителям города еще не доводилось видеть.

А в перерывы между этими назначениями были и другие, в том числе, должность вице-губернатора Твери (1860 – 1862 годы). Поначалу нового чиновника встретили настороженно. Одной из причин для того послужил как раз поиск жилища. Некто А. А. Головачев писал в одном из писем: «У нас на каждом шагу делаются гадости, а вежливый нос (Павел Трофимович Баранов, губернатор – АМ.) смотрит на все с телячьим взглядом. Салтыкова, поступившего на место Иванова, я еще не видел, но разные штуки его сильно не нравятся мне с первого раза. Например, посылать за полицмейстером для отыскания ему квартиры и принимать частного пристава в лакейской; это такие выходки, от которых воняет за несколько комнат».

Поначалу Салтыкову-Щедрину дали весьма нелестное прозвание. Другой житель Твери писал: «По уездам предписано сделать выборы предводителей по представлению Носа вежливого... Эта выходка Носа вежливого окончательно доказывает его лакейскую душу. Скрежет зубовный вступил уже недели две с половиною в должность, и, как слышно, дает чувствовать себя».

«Скрежет зубовный» и есть Михаил Евграфович.

Впрочем, в скором времени жители города, что называется, сменили гнев на милость. А в официальной справке, данной Салтыкову-Щедрину значились такие его качества: «Вице-Губернатор Салтыков сведущ, деятелен, бескорыстен, требователен относительно сотрудников, взыскателен относительно подчиненных».

Но несмотря на это Салтыков-Щедрин катастрофически не уживался со своими сослуживцами – как низшими, так и высшими. Был, что называется, не того поля ягодой.

Относилось это и к другому литератору, И. С. Аксакову. Он исправлял должность товарища председателя уголовной палаты в Калуге и признавался: «До сих пор ни с кем, кроме Унковских, не познакомился и решительно так же чужд Калуге, ее жителям, ее интересам, как какому-нибудь Моршанску».

Саму же службу он описывал в стихах:

Еще один писатель, А. Ф. Писемский служил в городе Костроме губернским секретарем палаты государственных имуществ. Впечатления свои описывал впоследствии в романе «Люди

сороковых годов»: «Вихров затем принялся читать бумаги от губернатора: одною из них ему предписывалось произвести дознание о буйствах и грубостях, учиненных арестантами местного острога смотрителю, а другою – поручалось отправиться в село Учню и сломать там раскольничью моленную. Вихров на первых порах и не понял – какого роду было последнее поручение.

– А скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда село Учня? – спросил он исправника.

– Верст сорок, – отвечал тот.

– Мне завтра надо будет ехать туда, – продолжал Вихров.

– В таком уж случае, – начал исправник несколько, меланхолическим голосом, – позвольте мне предложить вам экипаж мой; почтовые лошади вас туда не повезут, потому что тракт этот торговый.

– Но я возьму обывательских, – возразил Вихров.

Исправник на это грустно усмехнулся.

– Здесь об обывательских лошадях и помину нет; мои лошади такие же казенные».

В том же романе – характерное письмо героя к двоюродной сестре: «Пишу к вам это письмо, кузина, из дикого, но на прелестнейшем месте стоящего, села Учни. Я здесь со страшным делом: я по поручению начальства ломаю и рушу раскольничью моленную и через несколько часов около пяти тысяч человек оставлю без храма, – и эти добряки слушаются меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки; но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы, с вашей женскою наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для пользы, сударыня, государства, – для того, чтобы все было равно, гладко, однообразно; а того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки и придают красоту земле и что они даже лучше всяких крепостей защищают страну от неприятеля. Есть же за океаном государство, где что ни город – то своя секта и толк, а между тем оно посильнее и помогучее всего, что есть в Европе. Вы далее, может быть, спросите меня, зачем же я мешаю себя в это дело?... Во-первых, я не сам пришел, а меня прислали на него; а потом мне все-таки кажется, что я это дело сделаю почестней и понежней других и не оскорблю до такой степени заинтересованных в нем лиц. А, наконец, и третье, – каюсь, что очень уж оно любопытно. Я ставлю теперь перед вами вопрос прямо: что такое в России раскол? Политическая партия? Нет! Религиозное какое-нибудь по духу убеждение?... Нет!.. Секта, прикрывающая какие-нибудь порочные страсти? Нет! Что же это такое? А так себе, только склад русского ума и русского сердца, – нами самими придуманное понимание христианства, а не выученное от греков. Тем-то он мне и дорог, что он весь – цельный наш, ни от кого не взятый, и потому он так и разнообразен. Около городов он немножко поблаговоспитанней и попов еще своих хоть повыдумал; а чем глуше, тем дичее: без попов, без брака и даже без правительства. Как хотите, это что-то очень народное, совсем по-американски. Спорить о том, какая религия лучше, вероятно, нынче никто не станет. Надобно только, чтоб религия была народная. Испанцам нужен католицизм, а англичанин непременно желает, чтобы церковь его правительства слушалась».

Не удивительно, что вскоре Писемский покинул службу. Покинул не без сожаления. Писал: «принужден с моей семьей жить в захолустной деревнюшке в тесном холодном флигелишке; положим мне ничто: зачем не был подлецом чиновником, но чем же семья виновата?»

Но со своей совестью поделаться ничего не мог.

Люди такого плана, разумеется, не приживались в мире госчиновников. Вот, например, как описывал некий калужский обыватель Гусев своего брата-чиновника: «Старший брат Коля учился в Уездном училище, где и кончил курс. Поступил на службу в Палату Гражданского Суда чиновником. Жалования он в то время получал, кажется, 10 р. В молодости имел характер веселый, живой, большой танцор. Он очень много читал и тем значительно развил себя. К службе, как видно, способен был, но, кажется, ленив, а особенно не сдержан на язык к старым

начальникам, но в высшей степени справедлив и честен, что, конечно, не нравилось старшим, у которых взятки были на первом плане, а особенно в суде. Почерк он имел прекрасный, грамотно и хорошо составлял (а не переписывал) бумаги. За справедливость и честность его считали неуживчивым, а собственно, его боялись. Поэтому он, переходя с места на место, в конце концов совершенно бросил службу и занялся быть ходатаем по делам меньшей братии».

* * *

Гораздо проще было деятелям выборным. Особенно, если они из купечества, и при состоянии, гарантирующим независимость. Взять хотя бы уже упомянутого Андрея Александровича Титова, гласного думы Ростова Великого. Его речи в думе уникальны – и в отношении ораторского искусства, и в отношении гражданской позиции. Он, например, выступал перед гласными:

– Основание к учреждению родильного отделения, полагаю, для всех понятно: это – чело-
веколюбие. Вероятно, до всех доходили рассказы ростовских врачей о том, что им нередко приходится бывать у бедных рожениц в таких помещениях, где зимою от холода, сырости, угара и разных испарений не только нет возможности поправиться больному, но очень легко и здорово заболеть, и потому все высказанное мною заявление сделано с единственною целью – насколько возможно, избавить матерей от подобной участи, а детей спасти от преждевременной смерти.

Иной раз предложения Титова были вовсе неожиданными. К примеру, когда накопилась недоимка с горожан, лечившихся в земской больнице, но не расплатившихся, и дума размышляла, как бы эти деньги получить, он выступил с таким неординарным предложением:

– Городская дума заплатит всю недоимку... и кроме этого обяжется на будущее время уплачивать ежегодно за лечение несостоятельных мещан, не доводя управу ни до какого судебного процесса... Это будет по моему мнению... гораздо лучше и полезнее, чем вести долгий процесс, сорить деньги и все таки не быть уверенным, придется ли получить, или нет эту недоимку. Затем, господа гласные, я обращаюсь к нравственной стороне этого дела: те мещане, с которых следовало бы получить деньги, давно уже умерли, или ровно ничего не имеют, а потому приходится получить с людей, ни в чем не повинных, отнимать у них последнее жалкое имущество, продавать их бедные лачуги!

Любопытно, что такое неожиданное предложение было принято двадцатью семью головами против двух – настолько мощной была сила убеждения Титова.

При всем при том, без стихотворных опусов он свою жизнь не мыслил. Мог, к примеру, шутки ради состряпать посвящение своему знакомому, некому Оскару Якимовичу Виверту:

Впрочем, на Андрея Александровича редко обижались. Чаше преподносили ему книги с трепетными посвящениями: «Многоуважаемому Андрею Александровичу Титову, энергичному и талантливому труженику родной археографии, всегда готовому содействовать другим, дань признательности от редактора издания». А иногда посвящения сочиняли в стихах:

Или:

Похоже, автор этой эпиграммы не особенно преувеличивал. Андрей Александрович и вправду был деятелем «микеланджеловского» типа, то есть сочетал в себе множество самых разнообразных талантов.

* * *

Великолепным был Милюта-Шевелюта – так звали с детства будущего городского голову Череповца Ивана Андреевича Милютина. Этим прозвищем он был обязан своему незаурядному умению «шевелиться» во время незамысловатых игр. А вскоре Шевелюта стал играть в другие игры – взрослые и очень даже интересные.

Можно безо всякого сомнения сказать, что Иван Андреевич был самым знаменитым из уездных городских голов. Свидетельств тому множество. Вот, например, цитата из одного детективного романа, изданного в Петербурге в 1911 году:

«— Если с умом взяться, — говорил отец, — то свой город можно будет так выдвинуть — страсть. Вся Россия ахнет!.. Дескать, не было ни гроша, да вдруг алтын.

— Как же это, тятенька?

— А как Милютин в Череповце... Ну-ка, как он город свой возвеличил! Ни одному губернскому не уступит.

— Так ведь Милютин-то один на всю Россию...

— Не уж русская земля клином сошлась, и только и есть в ней, что Милютин Череповецкий?»

Именно так и написано — Милютин Череповецкий. Почти как про святого.

Заслуги Милютина были для всех очевидны. Журналист Ф. Арсеньев писал: «Несколько лет тому назад я знал Череповец за весьма скромный городок с невозмутимой тишиной на улицах и совершенно провинциальной простотой нравов населения, занятого мелочными житейскими делишками. Теперь Череповец стал бойким оживленным городом, и оживление это началось с того времени, как широко развернулась коммерческая деятельность И. А. Милютина. В настоящее время здесь множество учебных заведений, хороший механический завод, док для постройки судов и барж и постоянный прилив сюда разных культурных людей».

Это — лишь на поверхностный взгляд. Сами же черепане охотно продолжали тот список. Адрес, поднесенный городскому голове в честь 25-летия несения им этой должности выглядел довольно впечатляюще: «Сегодня представляется нам случай во всеуслышание напомнить себе вкратце то, что сделано под управлением и руководством Вашим и отчасти на личные средства Ваши для родного города в последние 25 лет. Это напоминание небесполезно как для нас самих, так и для будущего нашего поколения. Так, например, на том месте, где была ветхая пожарная изба, стоит теперь вот это здание, в котором мы собрались праздновать сегодняшний день и в котором помещаются: Городская Управа, Банк, Общество Взаимного Страхования, библиотека, Мещанская Управа и Полицейское Управление. На площади, где был кабак и старая тюрьма, теперь Женская Гимназия и Городское трехклассное училище, а там, где был полуразвалившийся домик, занимаемый городским магистратом и съезжей, теперь высится здание Окружного Суда. Затем, где стояли 30 лет каменные стены с полусгнившим деревянным куполом, ныне красуется храм Благовещения, с которого началось благоустройство города. Далее воинские казармы, избавившие обывателей от постоянной повинности, на главной площади новый просторный гостиный двор. По некоторым улицам явились каменные мостовые и почти по всем тротуары. Подгородные поля окружены земляным валом... В городской лесной даче произведена осушка болот и устроена прямая дорога, через что дача с 27 приблизилась к городу на 14 верст... Рядом с доком тянется земляная дамба с мостом, перекинутым через реку Ягорбу, что значительно придвинуло к городу Шексну».

Да уж, список и впрямь впечатляющий. Плюс к тому же старания по улучшению водной Мариинской системы, связывающей реку Волгу со столицей и проходящей мимо города Череповца. А что касается учебных заведений, то в этом плане господин Милютин сделал просто напросто немыслимое. Публицист А. Субботин писал: «Лежит знаменитый город Череповец, — или проще говоря, северные Афины... В городе около 800 учащихся, или по одному на пять жителей — пропорция такая, какую встретишь только где-нибудь в Цюрихском кантоне. В Череповце имеется реальное училище, женская гимназия, учительская семинария, сельскохозяйственная школа и др. Кроме того, в городе находится окружной суд, так что интеллигенции хоть отбавляй. Сюда посылают учиться из разных мест Новгородской и смежных с нею губерний. Оканчивающие в здешнем ремесленном училище и в техническом отделении реального училища разбираются нарасхват на места механиков, мастеров, на паровые верфи, на заводы и пр. Такою культурною ролью город во многом обязан состоящему 30 лет городским головою Ивану Андреевичу Милютину, довольно известному в общественных и петербургских сферах; Иван Андреевич также самородок в своем роде и видный деятель Поволжья».

А началось все в 1853 году, когда двадцатичетырехлетний, но вполне преуспевающий предприниматель принят был на службу в городскую ратушу. Спустя два года он стал первым бургомистром города Череповца. А в 1861 году он становится городским головой.

Главные качества для городского головы – энергичность, непоседливость и хорошо подвешенный язык. У Ивана Андреевича со всем этим был, что называется, полный порядок. Чего стоило хотя бы его выступление на открытии женского профессионального училища:

– Пускай дает нам этот новый питомник: добрых, честных, толковых, разумно-трудолюбивых, бережливых, хороших пособниц своим матерям и своим сосемейникам; а потом, по совершеннолетию, пусть дети эти будут хорошими хозяйками, женами и матерями и, не мудрствуя лукаво, истинными христианками, добрыми гражданками. Затем, конечный, результат такого воспитания должен выразиться для них в улучшении довольства семьи, в благоустройстве ее и хозяйства: а) в жилье – вместо путешествующих по стенам, по случаю нечистоты, тараканов и присутствия дурного запаха, будет опрятно и свежо, по крайней мере будет так, как у некоторых крестьян Архангельской губернии, или у наших малороссов, где чуть не каждую неделю белят свои мазанки даже снаружи; мы уже не говорим о норвежцах, у которых и дворик, и домик, и садик, и огород идеально благоустроены, и все это явилось благодаря толковому трудолюбию, строгой честности и доброй нравственности.

Речи, с которыми череповецкий голова выступал перед горожанами поражали подчас неожиданными аргументами. Вот, например, как он высказывался в пользу общества страхования от пожара:

– Общество взаимного от огня страхования – это благотворное учреждение, основанное чисто по научению Спасителя. Тут вы видите: каждый обыватель несет в общую городскую казну по ценности своего дома известную частичку денег, как в прежние Апостольские времена несли на общую трапезу хлебы, и от них вкушали все имущие и неимущие. При взаимном страховании вместо вкушения хлебов в случае несчастья, если дом сгорит (что Боже упаси!), будут получать из казны деньги, чтобы иметь на первый раз и кусок хлеба, и хижину для прикрытия себя и детей от мокра и холода. Если же пройдет все благополучно, тогда у каждого через десять лет из рубля сделается два, и эти деньги всегда можно будет, разделив с общего согласия, взять назад.

Возразить на эти доводы было, конечно же, нечего. Еще бы – ведь тут и библейская мудрость и совсем приземленный, но столь милый сердцу доход.

Впрочем, без родного брата, без Василия Андреевича ничего у городского головы не вышло бы. В Череповце об этом говорили: «Иван Андреевич прожекты пишет, а Василий Андреевич деньги добывает». Действительно, почти все управление милютинскими капиталами взял на себя младший брат Василий. Один из современников об этом вспоминал: «По справедливости можно сказать, что не будь такого брата, при разнородности и разбросанности своих дел – от „хладных финских до пламенной Колхиды“ – едва ли Иван Андреевич мог уделить время на посторонние дела и тем достигнуть всего сделанного».

Всего лишь раз Иван Андреевич дал слабину – когда в 1889 году решил оставить пост городского головы. Но черепане его просто-напросто не отпустили, и Милютину пришлось остаться в должности.

Естественно, Милютин был фигурой легендарной. Про него ходило множество историй – как достоверных, так и вымышленных. Якобы Иван Андреевич собственноручно приезжал на тройке в одну окрестную деревню за тамошним кузнецом – так высоко ценил его квалификацию. С другой стороны, приезжая в Петербург, он останавливался не в гостинице, а во дворце у самого царя, да и питался там не в ресторанчиках, а сидя с государем за одним столом.

Впрочем, доподлинно известно, что Иван Андреевич Милютин переписывался со знаменитым Витте. Он, например, послал тому в 1905 году довольно трогательное послание: «Уполномоченному Статс-Секретарю Сергею Юльевичу Витте.

Находясь на Старорусских водах, не могу не выразить глубокой патриотической радости ввиду торжества высшей мудрости, которою теперь только проникнулся государь, посылая Вас как мужа разума и опыта на совершение великого дела. Я верю, что Ваша поездка в Америку будет началом светлой эры исстрадавшейся России за последние два года. Да пошлет Господь Бог Вам здоровья и благословит высшею мудростью. Остальное все нужное содержится в Вашей недюжинной личности.

Незименный почитатель, старейший городской Голова в России Иван Милютин».

Витте ответил кратко: «Сердечно благодарю за доброе слово. Здравствуйте. Витте».

Видимо, у государственного мужа Витте дел было поболее, чем у городского головы Череповца.

Иван Андреевич скончался в 1907 году. Горе черепан было обильным и, конечно, искренним.

Один сельский учитель прочитал свои стихи:

Но град осиротелый, разумеется, и сетовал, и плакал.

Планировалось сделать в честь Милютина целый мемориал – роскошный и внушительный. А спустя несколько лет секретарь городского головы напишет: «Теперь уже Иван Андреевич отошел к Праведному Судии, и дума до сих пор ни в одном из своих заседаний, после его смерти, не обмолвились не одним словом об увековечении памяти о нем в грядущих поколениях осязательным наглядным образом».

Что ж, этого и следовало ожидать.

* * *

Милютин был, конечно, не один такой. Подстать ему – тверской городской голова Алексей Федорович Головинский. Отнюдь не тверской уроженец – он родился в столице, в семье крепостных княгини А. Голицыной. Грамоте обучился лишь к пятнадцати годам (впрочем, подобное умение для крепостного было редкостью и в зрелом возрасте). После чего Алексей начал совершенствоваться в новом навыке, и был даже привлечен к занятиям в конторе – сначала просто мальчишкой на побегушках, а в скором времени – бухгалтером и даже старшим конторщиком. Затем Алексей Федорович был назначен управляющим целой (череповецкой) вотчины Голицыных, а в 1840 году крепостная карьера тридцатилетнего юноши счастливо прерывается – ему даруют долгожданную вольную.

Став свободным человеком, Головинский женится, записывается в купцы (вторая гильдия, а по прошествии нескольких лет и первая) и переезжает в Тверь, где продолжает заниматься своим бизнесом. Но не меньшее внимание он придает, как говорили два десятилетия назад, общественной работе. В 1850 году Алексей Федорович становится почетным членом Тверского губернского попечителя детских приютов, в 1855 становится потомственным почетным гражданином, в 1857 году избирается первым бургомистром, спустя год входит в должность директора Тверского губернского комитета попечительского общества о тюрьмах и избирается членом-корреспондентом Тверского губернского статистического комитета, а в 1863 году он добирается и до вершин своей общественной карьеры – его избирают городским головой.

Существует мудрое неписаное правило – при прочих равных старый госчиновник лучше нового, хотя бы потому, что все, что ему надо, он уже украл, а новый станет воровать с жадностью голодранца. В какой-то степени это относится и к лидерам общественного самоуправления. И в этом смысле жителям Твери не было смысла опасаться назначения нового головы – он к тому времени был человек довольно обеспеченный и, мало что не покушался на городскую казну, так еще и жертвовал огромнейшие суммы из своих собственных средств. Притом еще до назначения Вот, к примеру, одна из заметок опубликованных в «Тверских губернских ведомостях»: «Купец А. Ф. Головинский изъявляет готовность установить за свой счет 300 фонарных столбов, на что пожертвовал 1 тыс. рублей».

Вот, например, заметка из «Ведомостей», касающаяся открытия в Твери женской гимназии: «Открытию гимназии заметно способствовали неутомимая деятельность, энергия и значительные пожертвования А. Ф. Головинского». Он принес в дар новому учреждению пять тысяч рублей серебром.

Кроме того – 2000 рублей на погорельцев, 6000 на библиотеку, и так далее, так далее, так далее.

Став головой, Алексей Федорович не прекратил свою благотворительную деятельность. Он, например, пожертвовал шесть тысяч все та ту же женскую гимназию – «на обучение в этой гимназии дочерей честных и беднейших граждан, оказавших обществу какие-либо заслуги».

Крупнейшая же жертва господина Головинского связана с возведением в Затьмачье земляного вала. Каждую весну этот район страдал от наводнения – разливались воды сразу же двух рек – Волги и Тьмаки. Требовалось строительство оградительного вала, но городской бюджет такими средствами не был богат. Зато они оказались у купца Головинского, который на собственные десять тысяч рублей этот вал и построил.

Вот как описывали «Ведомости» первое крупное испытание, доставшееся валу в 1867 году: «Лед срывал дерн, оголял песок вала, вал разрушался и давал течь. Архитектор Нефедов и полицмейстер Губченко руководили работами 70 рабочих по укреплению слабых мест.

А вода между тем не убывала, как бы издевалась, она то опускалась, то поднималась на вершок или два. И работающие, и жители не видели конца борьбы. К ночи в субботу на Светлое Христово Воскресенье были приведены солдаты Капорского полка. Всю ночь солдаты простояли на валу, ожидая работы, здесь они и встретили светлый праздник... Когда отошла обедня, увидели, что вода убывла на несколько четвертей, к полудню вода упала еще больше, вал был безопасен, Затьмачье спасено. Я думаю, нечего и говорить, какие чувства были в сердцах бедных затьмацких жителей, когда они видели, что они спасены от воды и от непроходимой грязи, что не только не потерпели никаких убытков, но и могли провести святые дни страданий Господа в храме Божьем и молитве, могли встретить драгоценнейший для русского праздник Святого Христова воскресенья вместе со своими православными братьями в церкви, а не на чердаках, страдая от холода и голода... Решили прежде всего отблагодарить Бога, пособившего так счастливо окончить это дело. Благодарственное молебствование было назначено на... 17 апреля. По окончании молебствования в Соборе, после поздравления начальника губернии, за болезнью еще не выезжавшего никуда, г. вице-губернатор кн. Оболенский, другие власти города, виновник всего дела г. Головинский с почтеннейшим купечеством, архитектор Нефедьев и др. отправились за Тьмаку на вал. Сюда из церкви Покрова... были вынесены хоругви и иконы».

Следом за Богом отблагодарили Алексея Федоровича. Князь Оболенский, тверской вице-губернатор, выступил с проникновенной речью:

– Алексей Федорович! По поручению г. начальника губернии князя П. Р. Багратиона и от имени всего населения Затьмачья, в особенности же от имени бедных и несчастных приношу вам сердечную, душевную благодарность. Они не забудут вашего благодеяния и передадут память о нем внукам своим. Признательность же народная назовет благодетельный вал – валом Головинским.

«Признательность народная» была закреплена и соответствующим документом, официально утвердившим новое название. На валу установили знак: «Вал Головинский. Вал построен иждевением Тверского Городского Головы Потомственного Почетного Гражданина и Кавалера Алексея Федоровича Головинского». А польщенный голова пожертвовал еще две тысячи рублей – на приведение вала в порядок. Паводок был все-таки не шуточным.

Увы, именно этот вал и положил конец карьере Головинского. Купец Бураков, огороды которого располагались на месте оградительного вала, затеял против Алексея Федоровича про-

цесс. И 1871 году, во время перевыборов, рядышком с фамилией нашего гения значился комментарий: «находится под следствием». В результате вместо Головинского был выбран другой житель города, тоже почетный гражданин П. Кобелев.

Спустя несколько месяцев Головинский скончался. А город получил последние пожертвования от своего бывшего головы. В завещании упоминались школы, народные училища и прочие учреждения, которым очень нужны деньги, и на которые обычно денег не хватает.

На таких героях, собственно, держалась русская провинция. Однако, больше на слуху были чудачества чиновников.

В собраниях думы прения ведутся,
Работает исправно там язык.
Слова текут, бесплодно льются, льются,
Их поглащает жадный Темерник.

Какой-то бургомистр, не в меру своевольный,
Печатью местной недовольный,
Швейцару, из солдат, строжайше приказал
Отнюдь не допускать беднягу в думский зал.
«Пуская-ка посидит на хорах!
Со злобой молвил он во взорах. —
Туда ее. Поближе к паукам.
Чтоб знала, как перечить нам.
Посмотрим, хорошо ль ей будет слушать там!»...

В Консistorии, в зале большой,
Архиерейский синклит заседает,
Но не видит Владыка слепой,
Как «Петруха» дела направляет.

Сей Петруха Басманов, злодей
Не утрет слез вдовицы несчастной,
Что напишет рукой загребушей своей,
Скреплено будет подписью властной.

Благодушный владыка заснет,
Табакеркой своею играя,
А Петруха в то время берет,
Одно место двоим обещая.

N.N., вертлявый по природе,
Модницкий, глядя по погоде,
То ходит в красном колпаке,
То в рясах, в черном клобуке,
Когда безбожье было в моде,
Он был безбожья хвастуном,
Теперь в прихожей и в приходе

Он щеголяет ханжеством.

Прямо в ложе полуцарской
Виден знатный господин.
Полон спеси он боярской,
Здесь новый властелин!
Не солдат он, не приказный,
Он суров, да не умен.
Жаль, что свитой очень грязной
Постоянно окружен.

Не кидай притворных взоров
И не тщишь меня смущать.
Не старайся излеченны
Раны тщетно растревлять.

Я твою неверность знаю
И уж боле не пылаю
Тем огнем, что сердце жгло,
Уж и так в безмерной скуке,

В горьком плаче,
В смертной муке
Дней немало протекло...

Трудись, молодой герой-чиновник,
Не пожалей, смотри, себя.
И государственный сановник
Представит к ордену тебя!!!

...А дома пусто, безотраднo,
И, будто в ссылке, дни мои
Проходят вяло и досадно,
Так утомительно нещадны,
Без песен, дружбы и любви.

Омар Налимыч, не сердитесь,
Что рыба кличка вам дана;
Но я надеюсь – согласитесь,
Что Вы похожи на сома.

Струя преданий... Поколениям
Святой, живительный родник!
Где ты храним с благоговеньем,

Народ там крепок и велик.

Почтенному Российскому историографу,
А паче оне Ростова града историографу,
А так как вообще он «мастер на все руки»,
То значит, что ему и «книги в руки».

Не сетуй, град осиротелый!
Не плачь, – его дела с тобой.
Иди, как он, стезею смелой
Навстречу жизни трудовой.

От чистого служивого сердца

Обычно в самом центре города, на главной улице стояло здание в стиле ампира, увенчанное высоченной каланчой. Это – полицейский участок и пожарная команда. Как правило их совмещали – ведь и пожар, и преступление требовали оперативности, отваги, ловкости, самоотверженности. Именно в этом доме с каланчой обыватель искал помощи, спасения. Если он, конечно, не убийца, не смутьян – те обходили каланчу стороной.

Хотя ничего страшного там, по большому счету, не было. А внешняя ампирная солидность компенсировалась внутренней обшарпанностью. Калужский полицмейстер Е. И. Трояновский жаловался калужскому же городскому голове: «Имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего о командировании господина городского архитектора для тщательного осмотра крыши на здании 1 части и определения причины постоянной ее течи при бесконечных, но бесполезных починках. Помимо особого одолжения, которое Вы окажете лично мне, приказав устранить эту неисправность, переделка крыши нужна действительно для сбережения городского здания. Это единственный дом в городе (из тех, которые я знаю), где крыша течет 14 лет постоянно и приходится во время всякого сильного дождя выносить всю мебель в коридор, спасать рояль, подставляя все ведра и тазы, а так как при этом две горничные не успевают собирать в ведра воду с окон при боковом дожде с ветром, то приходится всем членам моей семьи принимать участие в спасении имущества и хорошего пола в приемных комнатах. Надо полагать, что очень скоро провалится и весь потолок, который не мог не сгнить.

Кроме того, прошу попутно приказать осмотреть и переделать единственную кладовую в моей квартире, которую я освободил от имущества еще зимою, так как г. Архитектор вполне справедливо предупредил меня о возможности ее падения вследствие образовавшихся сквозных трещин, постепенно увеличивающихся».

У головы, однако же, своих проблем хватало, тем более, что полицейские числились не по городскому, а по государственному ведомству.

Впрочем, с деньгами встречалась путаница. В той же Калуге исполняющий обязанности помощника полицмейстера писал на адрес городского головы: «По закону 31 января 1906 года штаты городских Калужской городской полиции изменены с увеличением содержания в размере 13 100 рублей в год. В настоящем году от казны городу пособие на полицию отпущено только 6 550 рублей, но и те, согласно требованию МВД, подлежат удержанию в уплату городского долга казне за содержание полиции. Между тем, ввиду того, что еще ниоткуда не поступало дополнительного содержания городским, израсходованы на этот предмет другие ассигнования, как то: содержание личного состава, канцелярские, сыскные. Так что не имеется сумм не только на выдачу 20 октября жалования личному составу, но даже нечем рассчитывать увольняемых теперь городских. Ввиду изложенного, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о взносе в казначейство в мое распоряжение на содержание городских по закону 1906 года 13 100 рублей с получением настоящего отношения».

Ничего, как-то разбирались. И калужский губернатор, в свою очередь, уведомлял здешнего полицмейстера: «Что касается полицейских будок, то 13 лет назад я застал их еще достаточное количество, стоящих, по большей части, по концам улиц; те будки были старинного восьмиугольного типа с печью посредине, последняя была так велика, что оставляла по сторонам пространство по аршину ширины, занятое нарами, куда ложились спать, жить могли только двое, ночуя по очереди. Все упомянутые будки за старостью и негодностью были уже оставлены, а служили лишь ночными притонами для бездомных гуляк, которые могли быть легко задавлены, почему я потребовал уборки их и замены новыми. Управа предпочла временное назначение квартирных денег по 2 руб. в месяц, оставив только выстроенные новые будки: у Смоленской заставы, у Каменного моста и у дома Губернатора. Желая придти на помощь

городу и городовым, я построил на засыпанных мною рву у Мясных рядов и пруда у церкви Жен Мироносиц две новые будки хозяйственным способом без всяких ассигнований со стороны Управы, употребив на это все годное от разобранных старых и все старые телеграфные столбы, отстоявшие к тому времени установленный пятилетний срок. Третья большая будка-казарма на две половины для 8-и городских построена мною же арестантским трудом на углу Нижней Садовой улицы на месте, которое в данное время Дума постановила продать».

Какой уж тут священный трепет?

Сами сотрудники полиции тоже были не особенно страшны. Вот, к примеру, отзыв одного костромича: «В девяностых годах жандармским управлением командовал генерал Виктор Ксенофонтович Никольский. Был он стар, глух, дела вел адъютант. Он же проводил время больше в клубе и в гостях, играя в винт или преферанс. Благо в те времена было в Костроме „тихо“ и не было „беспорядков“. В виде общественной нагрузки он был казначеем нескольких общественных организаций, что-то вроде человеколюбивого общества, ведомства императрицы Марии и тому подобного. Периодически делались ревизии, но каждый раз проверка только какого-нибудь одного общества. Много лет все было в ажуре. Но однажды сделал ревизию одновременно. Когда приходила проверка, Никольский сказал, что не ожидал одновременной проверки и потому поедет домой за деньгами другой организации. Члены ревизионной комиссии ждали возвращения генерала, ждали и, не дождавшись, разошлись. Кто-то предложил, чтобы не выносить сор из избы, собрать деньги и выставить акт о благополучном состоянии денежных средств. Так и было сделано, благо сумма была что-то около 300 рублей. Но после этого случая Никольский подал в отставку, благо что пенсию по старости он уже выслужил».

Провинциальный полицейский не был суперменом. Действовал подчас нелепо, неумело. Архангельская пресса сообщала в 1914 году: «В субботу, 15 марта г. А-в, проходя вечером по Буяновой улице, услышал чьи-то стоны. Осмотревшись, А-в заметил против магазина Березина две барахтающиеся на снегу человеческие фигуры и подошел к ним. Оказалось, на снегу мучилась болями женщина, причем растерявшийся ее муж не знал, что делать. А-в вызвал к месту случившегося городского и попросил его посодействовать отправлению роженицы в родильный приют, но городской исполнить просьбу отказался, а вызвался отправить женщину почти в бессознательном состоянии в полицию. Г. А-в в свою очередь отказался от „медвежьей услуги“ городского, и женщина была отправлена им на квартиру, где и разрешилась от бремени, причем г. А-ву пришлось во время родов заменить роль повивальной бабки».

Случались проколы по части одежды. Калужский губернатор строжил полицмейстера: «Мною замечено, что классные чины калужской городской полиции появляются на улицах небрежно одетыми. Так, например, вчера, 10 апреля, помощник пристава 3 части Данишевский, проходя по городу вместе с приставом 3 части Денисовым, позволил себе надеть фуражку на затылок, и пристав не счел своим долгом заметить это Данишевскому. Ввиду чего предписываю Вашему Высокородию сделать замечание Данишевскому и Денисову, разъяснив им, что высшие чины полиции как в отношении форменной одежды, так и во всем прочем должны служить примером для низших чинов полиции».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.